

Роман

Тьма В ПОЛДЕНЬ

16+

Юрий Слепухин

Юрий Слепухин

Тьма в полдень

«ЛитРес: Самиздат»

1968

Слепухин Ю.

Тьма в полдень / Ю. Слепухин — «ЛитРес: Самиздат», 1968

Вторая книга тетралогии Ю. Г. Слепухина о Второй мировой войне, непосредственное продолжение романа «Перекресток». Время действия – с лета 1941 г. до лета 1943 г., начала Курской битвы. Параллельно с показом фронтовой судьбы Сергея Дежнева, ушедшего на фронт добровольцем в первый месяц войны, рассказывается о жизни его друзей и одноклассников в оккупации, правдиво описанной на основе личного опыта автора. Судьба одной из главных героинь романа – Татьяны Николаевой тесно связана с историей возникновения, деятельности и гибели комсомольского подполья в глубоком тылу противника. Впервые в романе появляется тема судеб белых эмигрантов, а также угнанных на принудительные работы в Германию советских людей, немецких антифашистов. Ярко описаны важнейшие военные операции. Многие события даются через призму становления личностей главных героев тетралогии. Любовь и ненависть, страх и самопожертвование – чувства, которые помогают героям преодолевать трудности военного времени.

© Слепухин Ю., 1968

© ЛитРес: Самиздат, 1968

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	19
Глава 3	26
Глава 4	36
Глава 5	44
Глава 6	55
Глава 7	62
Глава 8	70
Глава 9	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Юрий Слепухин

Тьма в полдень

Часть первая

Глава 1

Пикировщики повисли над городом в одиннадцатом часу утра, когда улицы еще чадили пожарами после ночного налета. Звенья шли с полевых аэродромов, расположенных на север и на запад от Энска, но на подлете они меняли курс, описывая широкую петлю с радиусом в десять километров, и заходили на цель прямо с юго-востока – так, чтобы утреннее солнце слепило глаза зенитным расчетам.

После внезапного удара первой волны вся городская система ПВО оказалась практически выведенной из строя. Редкие и плохо замаскированные зенитные позиции в скверах и на площадях были уничтожены, на военном аэродроме пылали ангары, на исковерканном бомбами летном поле догорали не успевшие взлететь истребители. Поодаль, за земляной обваловкой склада, рвались бочки авиационного бензина, выбрасывая далеко видимые даже на солнце фонтаны огня.

Горело и в самом центре, и возле вокзала, и на сортировочной, а над расположенной за южной окраиной нефтебазой стоял гигантский столб черного дыма, пронизанного медленно клубящимся багровым пламенем. И тень от него уже перечеркнула обреченный город.

Участь Энска была решена в штабах по ту сторону фронта. Пользуясь специальными таблицами, справочниками и логарифмическими линейками, люди с высшим военным образованием тщательно вычислили необходимое количество машин, горючего, боеприпасов, зажигательных и фугасных бомб, определили время и назначили час начала операции. Город был заранее сфотографирован с воздуха, опытные специалисты разведывательного отдела обрабатывали результаты аэрофотосъемки, и сегодня перед вылетом каждый пилот получил план своего квадрата, где было аккуратно отмечено все, имеющее значение не только для обороны, но и просто для нормальной жизни города. Синим карандашом были обведены казармы, воинские склады, здания советских учреждений и партийных органов, завод оптических приборов, хлебозавод, железнодорожное депо, вокзал, ТЭЦ, насосная станция городского водопровода и даже отдельные крупные жилмассивы.

На колене у летчика под целлулоидом планшета лежал план, а внизу, на земле, предательски ярко освещенный солнцем августовского утра, лежал город. Командир звена отыскивал очередной объект, сверяя наземные ориентиры, сигнализировал атаку идущим за ним машинам и ложился на боевой курс. В точно рассчитанный момент он одним движением рычага вводил свой Ю-87 в пике.

Бомбардировщик, казалось, на какую-то неуловимую долю секунды замирал в воздухе; потом, блеснув на солнце плексигласом кабины, он резко опрокидывался вниз носом и почти вертикально рушился на цель. Горбатый и остроклювый, с выпущенными тормозными закрылками и неубирающимся шасси, заключенным в массивные обтекатели, он напоминал в этот момент огромного фантастического коршуна, который падает на добычу, угловато распластав крылья и вытянув когтистые лапы...

Стрелка альтиметра быстро сползала вниз по циферблату, лихорадочная дрожь начала сотрясать разогнанный до шестисоткилометровой скорости самолет. Навстречу пилоту с ураганным ревом неслась земля, прямоугольники городских кварталов стремительно росли

и ширились на его глазах, ползли во все стороны, словно разбегаясь от страшного места, где, намертво пойманная в скрещении нитей коллиматора, лежала цель; так звери разбегаются от обреченного на смерть сотоварища. А сама цель уже не могла ни убежать, ни отползти в сторону, пригвожденная к земле невидимой прямой, математически точно совпадающей с осью движения самолета. Цель была обречена, и жизнь ее исчислялась теперь в секундах.

Пять... четыре... три... два... один... ноль! Летчик нажимает красную кнопку бомбосбрасывателя и изо всех сил, обеими руками, тянет рычаг на себя, искривляя траекторию падения, превращая почти отвесную прямую в параболу. Огромная центробежная сила вдавлиывает его в сиденье; земля перед ним, качнувшись, опрокидывается, подобно падающей стене, и цель уходит из поля видимости.

Последним видит ее стрелок-радиотехник, сидящий в своей турели спиной к пилоту, – в тот момент, когда бомбардировщик, воя перегруженным мотором, начинает снова набирать высоту. Точнее, стрелок видит не самую цель, а стремительно вырастающее на ее месте грязно-желтое облачко взрыва.

Для двух человек, сидящих в кабине бомбардировщика, понятие «цель» было именно этим: точкой, куда нужно безошибочно бросить машину, – для первого и клубящимся облачком грязно-желтого дыма – для второго. Помимо этого чисто зрительного восприятия с нею было связано и многое другое. Цель неуничтоженная означала неприятности, командирский разнос, насмешки товарищей по эскадрилье; уничтоженная, вместе с десятками и сотнями других, она влекла за собой производство в чине, внеочередной отпуск, награды вплоть до Рыцарского креста с мечами и бриллиантами, громкую славу аса и портреты в иллюстрированных журналах. И все это – слава и ордена, деньги и женщины – все становилось доступно, лишь научись правильно рассчитывать траекторию и нажимать кнопку в нужный момент. Остальное летчика не интересовало.

А бомба, отделившаяся от самолета после того, как движение пальца на красной кнопке замкнуло ток в электрической цепи соленоидов сбрасывающего устройства, уходила вниз, – начиненная гремучей смертью тридцатипудовая стальная туша падала все быстрее и быстрее, с исступленным визгом и воем сверля воздух своим тупым рылом. Достигнув цели, она успевала еще пробить несколько этажей и перекрытий, прежде чем вырывался на свободу запрессованный в нее химический ад, – и тогда зазубренные куски железа кромсали человеческую плоть, и горел воздух, а ударная громовая волна раскатывалась по земле, круша стены и ломая деревья, уничтожая на своем пути все созданное человеком...

Преступление совершалось не в тайне, не под покровом мрака. Пилоты и бортстрелки «юнкерсов», представители биологического вида *Homo sapiens*, осуществляли это массовое и высокомеханизированное убийство спокойно и открыто, в полном сознании обыденности происходящего, под ярким солнцем летнего погожего утра.

И может быть, самое страшное заключалось в том, что они не были ни зверьми, ни садистами – эти здоровые и чистоплотные молодые убийцы, одетые в щеголеватую униформу германских воздушных сил. Многие из них даже не проявляли никаких особенно враждебных чувств к тем, кто умирал под их бомбами. Они были любящими сыновьями, мужьями, братьями; в свободное от полетов время они писали домой нежные письма, непременно вкладывая в каждый конверт серебристый листок полыни или аккуратно засушенный цветочек, предавались сентиментальным воспоминаниям, подолгу разглядывали любительские фотографии близких. Иногда они пытались поухаживать за украинскими девушками или угощали украинских детей первосортным бельгийским шоколадом. А потом, получив очередное задание, поднимали в воздух свои Ю-87 и шли убивать таких же девушек и таких же детей по ту сторону фронта...

Это нисколько не нарушало их душевного мира и не приводило к конфликтам с совестью. Идеология этих молодых людей, отштампованная поточным методом в школах, казар-

мах и партийных организациях НСДАП¹, была простой до убожества. Их страна нуждалась в жизненном пространстве: семьдесят миллионов арийцев было скучено на территории, ненамного превышающей площадь тридцатимиллионной Польши; а уж за Польшей – до самого Тихого океана – простирались и вовсе пустые земли, лишь частично обжитые русскими унтерменшами. Арийцам было тесно.

Им предстояло теперь исправить эту несправедливость геополитики, перекроить мечом карту Европы. Гений фюрера поставил перед ними точно определенную задачу, германская техника вручила им самое совершенное в мире оружие – сокрушительное и безотказное, как тевтонский боевой топор. Молодые спортсмены в серо-стальных мундирах не видели оснований сомневаться ни в цели, ни в средствах. Они воевали со спокойной совестью.

Мало того – они гордились своей ролью в этой войне. Им выпала высокая честь принадлежать к отборнейшей части люфтваффе – к пикировщикам, «черным гусарам воздуха» рейхсмаршала Геринга. О них уже были написаны книги, сняты фильмы, сложены песни; они гордились своей грозной и прекрасной ролью в этой исторической битве за жизненное пространство, гордились своим умением выполнять солдатский долг перед нацией и ее вождем, умением выполнять приказ. Проезжая потом по улицам разрушенных ими городов, они оставляли машины и фотографировали развалины с такой же гордостью, с какой архитектор фотографирует лучшее свое творение. Они знали, что тысячи трупов гниют под этими развалинами, но мысль о трупах их не смущала. Война есть война, и приказ есть приказ. Бомбить, разрушать – было их профессией; и они исполняли ее добросовестно, по-немецки. Остальное их не касалось.

Наверное, именно поэтому так спокойно делали свое страшное дело немецкие юноши, бомбившие Энк в это солнечное августовское утро.

Погода была лётной, зенитки молчали, русских истребителей не было. Самолеты кружились над городом неторопливо и деловито, пилоты отыскивали цели, пикировали, выводили машины из пике; отбомбившееся звено набирало высоту и ложилось на обратный курс. Впереди ждал отдых – сигареты, кофе с коньяком, партия в покер в офицерском казино, недочитанный детективный роман... и, черт возьми, сегодня они его заслужили, этот отдых!

Словно усталые охотники, возвращающиеся из леса, летчики лениво переговаривались через свои ларингофоны, обменивались впечатлениями, шутили. За их спиной, в зыбком солнечном мареве, расплывалась над степным горизонтом тяжкая сизая туча дыма, которую ветер медленно отгибал к югу, в сторону Черноморья; а навстречу им, ниже, летели на Энк новые шестерки груженых «юнкерсов».

Все это происходило во вторник двенадцатого августа тысяча девятьсот сорок первого года. Многие из жителей Энска, мобилизованных в конце июля на оборонные работы, вернулись в город как раз накануне, в понедельник. В числе этих вернувшихся были и Таня с Людмилой.

Две недели они копали противотанковые рвы между Калиновкой и Белой Криницей. Настроение было тревожным: новый оборонительный рубеж возводился в каких-нибудь сорока километрах от Энска. Вчерашние школьники, однако, держались молодцом.

Вся их группа – половина бывшего десятого «Б» – ждала новостей со дня на день и свято верила, что эти новости должны быть непременно хорошими. Кончался второй месяц войны, – пора бы наступить перелому! Даже Глушко, немного щеголявший своим «трезвым взглядом на обстановку» и своим скептицизмом, каждый вечер топал пешком в Белую Криницу, чтобы прочитать сводку на доске возле сельрады; в глубине души он все еще не мог расстаться с надеждами на пробуждение классовой сознательности в немецком солдате.

¹ НСДАП – национал-социалистическая рабочая партия Германии

Но из сводок ничего нельзя было понять, слухи до окопников не доходили, а если и доходили, то слишком уж нелепые – вроде того, что где-то рядом видели немецких мотоциклистов. В степи было тихо, к прерывистому гулу чужих самолетов уже привыкли, – они пролетали высоко, то группами, то в одиночку, и словно не замечали ни рва, ни работающих в нем людей. Только один раз какой-то оголтелый фашист спикировал с устрашающим ревом прямо им на головы, но не стал ни бомбить, ни стрелять из пулеметов, а только погрозил пальцем; потом их навестил еще один самолет, пролетел невысоко вдоль всей трассы работ и засыпал ее листовками, – в них были опять те же идиотские стишки: «Девочки и дамочки, не ройте ваши ямочки...»

Десятого вечером среди окопников разнесся слух, что работы будут прекращены, так как выяснилось, что противотанковый ров в этих местах вообще ни к чему. «Лучше было остаться на санитарных курсах, – сказала Земцева, узнав новость от Иришки Лисиченко. – По крайней мере, сейчас мы уже могли бы приносить хоть какую-то пользу, а так...» Девушки подавленно молчали – две недели изнурительного труда оказались потраченными впустую. Вернадская, накануне потерявшая очки, растерянно шурилась, от ее былой самоуверенности не осталось и следа. «Тоже лавочка, эти ваши санитарные курсы, – фыркнула Николаева. – Если бы это было всерьез, никто вас не отпустил бы на окопы!»

Ночью она долго лежала без сна, слушая далекий и невыразимо тоскливый, ноющий звук одинокого самолета, пробирающегося куда-то в огромной пустой ночи; едва слышные громовые раскаты изредка достигали ее слуха, – трудно было определить, с какой стороны они слышались: бомбили всюду, и по всему горизонту можно было видеть бледные мерцающие зарницы...

А утром оказалось, что за ночь трасса обезлюдела. Продолжать работу не было никакого смысла; оставшиеся – почти все мобилизованные из Энска – посоветовались, доели полученный два дня назад хлеб и решили идти в Калиновку.

Расходились маленькими группами. Бывшие питомцы 46-й школы договорились держаться вместе, и их группа оказалась самой многочисленной – человек тридцать; в Калиновке это произвело впечатление, их похвалили за организованность, выдали по пачке пшеничного концентрата и на двух попутных машинах отправили рыть стрелковые окопы под Семихаткой.

Первую машину немцы сожгли очень скоро, – едва ребята выехали на Новоспасский грейдер и ухитрились пристроиться в хвост какой-то чужой колонне. К счастью, обошлось без жертв; погорельцы перебрались на вторую машину и поехали дальше. Потом еще несколько раз за это утро им приходилось валиться друг на друга от резкого торможения, прыгать с борта и без оглядки удирать в неубранную пшеницу.

Вторая машина вышла из строя в трех километрах от Семихатки. Шофер, с черным от пыли и усталости лицом, долго копался в моторе, потом громко, не стесняясь присутствия девушек, выругался и объявил, что хана, машина дальше не пойдет. Глушко забрался в кузов и побросал оттуда рюкзаки и лопаты, их было теперь совсем немного, – большая часть группы куда-то рассосалась. Многим, очевидно, удалось пристроиться на другие грузовики.

– Надеюсь, в Семихатке соберутся все, – сказала Николаева без особой уверенности. – Был бы просто позор для нашей школы, если б среди нас оказалось столько дезертиров...

– Татьяна, не разбрасывайся громкими словами, – заметила Земцева. – Идемте, товарищи.

Татьяна обиженно замолчала. Она шла, утопая в мягкой пыли обочины, и думала о том, что в сущности у нее осталось не так уж много желаний. Когда-то – вечность назад, до войны, – их было видимо-невидимо; а сейчас? Конечно, было одно, главное, то же, что и у всех: вдруг узнать о начале нашего генерального контрнаступления по всему фронту. Ну а кроме этого? Первое – хотя бы на день попасть домой и найти в ящике письма от Сережи и Дядисаши. Второе – принять горячую ванну и хотя бы одну ночь провести в постели, с прохладными, скольз-

кими от крахмала простынями. Третье – съесть две двойные порции мороженого. Четвертое – получить наконец возможность сделать хоть что-нибудь полезное в этой Семихатке...

Последнее желание оказалось таким же неосуществимым, как и все остальные. Добравшись через час до забитого войсками хутора, они не нашли ни своих товарищей, ни того мифического начальства, которое – как сказали в Калиновке – должно было поставить их на работу.

Неунывающая Галка Полещук предложила просто идти от хаты к хате, выкликая: «Кому окопы копать», – может, и подвернется халтурка; но это прозвучало так неуместно, что всем стало неловко, и сама Галка, опомнившись, покраснела до слез.

Да, только здесь они начали догадываться об истинном положении вещей. Теперь было не до шуток, им становилось по-настоящему страшно. Если на Новоспасской дороге они видели только колонны машин, частично гражданских, частично с какими-то военными грузами, то здесь, на идущем через Семихатку магистральном шоссе, перед их глазами развернулась страшная картина отступления.

Глушко с Земцевой и Олейниченко ушли продолжать поиски. Остальные – их было теперь семеро – молча сидели на солнцепеке и не отрывали глаз от дороги.

В сущности ничего страшного на первый взгляд там не происходило. Просто шли люди – очень много людей, военных и штатских, с винтовками и грудными детьми, – бесконечно скрипели перегруженные повозки, тряслись и громыхали на ухабах грузовые машины, вперемешку с деревенскими мажарами медленно проплывали, раскачиваясь, кое-как прикрытые жухлой зеленью длинные орудийные стволы. Не было видно ни убитых или искалеченных бойцов, ни выведенной из строя техники, если не считать обгорелого каркаса полуторки в кювете; и, несмотря на внешне спокойный, исключаящий, казалось бы, всякую мысль о панике, неторопливый ритм этого движения людей и машин, несмотря на отсутствие внешних признаков разгрома – во всяком случае, тех признаков, которые были бы заметны и понятны вчерашним школьницам, – Таня и ее подруги не могли сейчас избавиться от совершенно четкого ощущения беды, большой и общей, касающейся решительно всех.

Дело было даже не в том, что движение по шоссе совершалось только в одну сторону – к востоку, на Энск; достаточно было взглянуть на лица красноармейцев, чтобы угадать весь путь, пройденный ими до этого степного хутора. Прокаленные солнцем и ветром, небритые, черные от пыли и копоти, эти лица казались обугленными, обожженными в беспощадном огне сражений. Бойцы шагали упрямо и неторопливо, как ходят люди, отшагавшие не одну сотню километров; они не были беглецами, никто не бросил оружия, – но они отступали.

Таня смотрела на них остановившимися глазами и совершенно отчетливо видела перед собой Сережу, такого же грязного и измученного, точно так же – озлобленно и упрямо – шагающего в эту минуту по какому-нибудь другому шоссе, под Киевом, или Смоленском, или Новгородом...

– Только бы не начали бомбить, – тихо заметила Иришка Лисиченко, проводив взглядом шестерку высокопролетевших самолетов. Девушки, как по команде, подняли головы.

– Типун тебе на язык, – сказала Таня, – еще накличешь...

– Им уже не до этого, – близоруко шурясь, отозвалась Вернадская.

– Да хватит вам, в самом деле!

А ведь Инка права, подумала Таня, глядя из-под ладошки вслед тающим в солнечном блеске самолетам. То, что они пролетели, не обратив внимания на такую легкую добычу, было – если вдуматься – куда более страшным, чем если бы немецкие бомбы посыпались сейчас на Семихатку. За этим безразличием чувствовалась зловещая уверенность победителей, – уверенность в том, что добыча все равно от них не уйдет...

Через полчаса вернулись Земцева и Олейниченко, обе с одинаково растерянными и испуганными лицами.

– Девочки, – сказала Люда, – нам нужно ехать. Только, пожалуйста, без паники, и вообще...

Что «вообще» – она не договорила. Девушки смотрели выжидающе то на нее, то на Наташу Олейниченко, которая едва сдерживала слезы.

– Что случилось? – испуганно спросила Таня. – Куда ехать?

– Домой, – ответила Земцева, стараясь говорить своим обычным рассудительным тоном. – Здесь оставаться бессмысленно – вы же видите, что делается. Во-первых, никто здесь ничего не укрепляет, а во-вторых...

– Ой, девочки! – вырвалось вдруг у Наташи; закрыв лицо руками, она села на чей-то рюкзак и заплакала, уткнувшись в колени.

Люда обвела взглядом подруг.

– Немцы сегодня ночью взяли Куприяновку, – сказала она вздрагивающим голосом. – Мы говорили с одним командиром, он советует немедленно уезжать...

Все молчали. Августовский полдень волнами зноя изливался на землю, та же пылящая и грохочущая лавина катилась по шоссе – рядом, в сотне метров от них; но все они, каждая по-своему, ощутили вдруг бредовую, кошмарную, как во сне, неправдоподобность происходящего. Немцы – в Куприяновке?

– Но ведь это совсем рядом, – растерянно сказала наконец Инна Вернадская. – Как же так – утром нам прочитали вчерашнюю сводку...

– Господи, если верить сводкам...

– Я уверена, что он – паникер и диверсант, этот твой командир! – закричала Таня, отчаянно картавя от возмущения. – Какое он имеет право...

– Не будь дурочкой, – холодно отрезала Людмила. – А эти все – тоже паникеры?

Она указала взглядом на идущих по шоссе бойцов. Таня вдруг заморгала, судорожно кусая губы.

– Не ревь! – прикрикнула Людмила. – Только этого нам еще не хватает. Так что будем делать?

– Нет, я просто поверить не могу, – сказала Вернадская тем же растерянным тоном. – Такая крупная узловая станция...

– А я теперь могу поверить всему! – сквозь слезы закричала Таня. – Чему угодно! Что немцы уже в Энске, что они захватили ДнепрогЭС, Киев, Москву, что угодно! Откуда мы знаем, что это не так?

– Вот, пожалуйста, – Людмила пожала плечами. – Вы видите эту психичку? То у нее все кругом – паникеры и диверсанты, а то вдруг начинается вот такая истерика. Танька, ну где тут логика?

– Подавись ты своей логикой, – решительно заявила Таня и с отчаянием высморкалась. – Куда Глушко девался?

– Сейчас придет. Пошел искать каких-то саперов, что-ли...

Таня насторожилась:

– Здесь что, саперы работают? Ты же говорила, Семихатку никто не укрепляет!

– Откуда я знаю – мне так сказали, – с досадой отозвалась Людмила. – Мало ли что могут делать саперы! А никаких гражданских окопников тут нет и не было.

– Саперы обычно строят мосты, – заметила Лисиченко.

– Какая глубокая мысль, – сказала Таня. – До чего противно слушать такие вот бабские высказывания о военном деле! Через что им здесь наводить мост, курица?

Иришка обиделась. Остальные вступились за нее, Николаевой было предъявлено обвинение в зазнайстве и грубости; Таня в ответ объявила подруг трусливыми ничтожествами. Они еще доругивались, когда появился Глушко.

– Вы что тут, посказались? – спросил он. – Нашли время базар устраивать...

Он сел на рюкзак и рукавом утер мокрое от пота лицо, размазав по нему грязь.

– Жарища проклятая, – пробормотал он, по очереди извлекая из карманов многократно сложенную истертую газету, кисет и огниво. – Вот что, девчата...

Девчата, сразу забыв о ссоре, смотрели на него с уважением. Володя Глушко был теперь единственным мужчиной в группе. Чувствуя на себе эти взгляды, единственный мужчина неторопливо изготовил чудовищную кривую самокрутку, облизал ее со всех сторон и несколькими ударами кресала высек огонь.

– Может быть, ты все-таки соизволишь договорить? – взорвалась наконец Таня. – Что это за разговоры насчет Куприяновки?

Володя окутался дымом и изрек:

– Под Куприяновкой немцы прорвали фронт. Сегодня ночью, танками. Эшелонов там осталось – все пути забиты... Теперь говорят, что нарочно не отправляли, вроде бы диспетчер оказался шпионом...

– Так мы что – едем? – спросила Людмила.

– Безусловно, – кивнул Володя. – Здесь вам оставаться нельзя. Только вот с транспортом погано, придется вам пока топтать пешком – дальше, может, кто подберет...

– А ты? – хором спросили девушки.

– Я остаюсь, – спокойно сказал Володя. – Мне найдется что делать, а вы смывайтесь. Seriously, девчата, здесь опасно...

И именно в эту минуту – словно в подтверждение его слов – все услышали стремительно приближающийся рев самолета. Люди хлынули с шоссе, прыгая через канавы и поваленные плетни.

Лежа в пыльном бурьяне, Таня зажмурилась и крепко прижалась щекой к чему-то колючему, – ей захотелось вдруг стать совсем маленькой и незаметной, а главное – плоской, совсем плоской, такой двухмерной... вроде тех бумажных человечков, которыми она играла когда-то в Москве, на Сивцевом Вражке...

Словно нагнетая воздух, с бешеным свистом и воем прошел самолет – совсем низко и прямо над ними, как показалось всем, – потом второй, третий; сухой и деловитый стук пулеметов каким-то странным диссонансом вплелся в этот разнузданный ураган звуков, потом, уже подальше, послышались не очень сильные взрывы, а через несколько секунд, совсем в отдалении, – еще один, от которого ощутительно дрогнула земля.

– Гробанулся, мать его перетак! – неистово закричал кто-то. – Смотрите, хлопцы!

Стало тихо. Таня подняла голову, моргая запорошенными глазами, потом вскочила. На шоссе что-то горело и трещало, но люди смотрели в другую сторону – на дым, поднимающийся из-за невысокого кургана в степи.

– ...Сам видел, ей-бо, – возбужденно и ликующе кричал высокий оборванный боец, – ему со счетверенной как врезали – прям в брюхо, вон из-за той хаты! Он так и задымил, так и пошел...

– Сбили, сбили! – закричала и Таня, чуть не плача от радости, и схватила в объятия подвернувшуюся Аришку. – Сбили, девочки!

– Можно подумать, ты сама стреляла, – иронически заметил Володя, отряхивая с себя пыль. – Давайте-ка собирайте свои сидоры и катитесь отсюда, пока не поздно...

– Эй, Глушко! – позвал кто-то. Все обернулись. Незнакомый командир в каске и пропавшей гимнастерке подошел к ним и устало – одними губами – улыбнулся девушкам.

– Привет, молодежь, – сказал он. – Это что же – и вся команда?

– Остальные разбежались, – ответил Володя.

Таня покраснела. Капитан – она успела заметить самодельные, вырезанные из сукна защитного цвета шпалы на его петлицах, кое-как пришитые толстой черной ниткой, капитан этот, к ее изумлению, одобрительно кивнул головой.

– Правильно сделали, – сказал он. – Вот что, Глушко... Давайте подумаем, как вам быть. Тут к вечеру должна быть одна машина из Энска – может, вам ее подождать? Здесь-то я вас посажу, а если пойдете пешком...

Он оттянул рукав гимнастерки и посмотрел на часы, потом обвел взглядом лица девушек:

– По дороге поймать машину не так просто, вы же видите. Что, если рискнуть и подождать?

Таня кашлянула и сделала шаг к капитану:

– Товарищ капитан... а почему вы говорите – «рискнуть»? В чем тут риск?

Капитан неопределенно хмыкнул.

– Риск в том, чтобы ждать, – сказал он. – Между Куприяновкой и Семихаткой нет никаких заслонов, если уж говорить откровенно. Ясно?

– А вы... тоже отходите?

– Мы – нет. – Капитан снял каску и вытер лоб грязным носовым платком. – Так что решай, Глушко. Ты ведь тут старший по команде?

Он глянул на свой платок и, торопливо заправив его в карман, надел каску.

– Но, товарищ капитан... – Таня смотрела на него умоляющими глазами. – Если вы остаетесь – может быть, мы... может быть, нам тоже пока не уезжать? Мы там две недели работали, и всё без толку, а сегодня нас прислали сюда, именно сюда, понимаете?... У нас вот и лопаты есть...

Капитан опять улыбнулся своей вымученной улыбкой.

– Да, лопаты – вещь серьезная, – сказал он. – Словом, молодежь, вы тут посоветуйтесь, и если решите ждать машину – подходите к нам, вон там крайняя хата, Глушко знает. А решите пешком – что ж, тогда счастливого пути. Я просто не знаю, что посоветовать...

Он еще раз посмотрел на часы и ушел. Девушки вернулись к своим вещам, разобрали рюкзаки, лопаты.

– До Энска почти шестьдесят километров, – нерешительно сказала Людмила. – Сколько мы можем пройти в день – километров тридцать? Значит, два дня. И что мы будем есть это время? Я не знаю, девочки, я бы подождала машину...

– А если не придет? – спросил кто-то.

– Конечно, может не прийти. В такое время все может случиться! Поэтому капитан и говорил о риске. Если бы мы знали, что машина придет точно в таком-то часу...

– И что до этого часа ничего не случится! – Вот именно. Тогда не о чем было бы раздумывать. В том-то и дело, что все может случиться...

– Вы, значит, твердо решили драть? – ледяным тоном спросила Таня.

– А что же нам – сидеть и ждать немцев? – закричала Галка Полещук. – Дурочкой я была бы! Все вон как драпают, а я что – рыжая? И никаких машин ждать нечего. Айда, девчата!

Группа опять разделилась, на этот раз ровно пополам: Наташа Олейниченко и трое ее бывших одноклассниц из десятого «Б» решили уходить пешком вместе с Галкой Полещук. Ждать машину остались пятеро, все по разным мотивам.

Глушко вообще не хотел «отступать» из Семихатки, и у него был уже готов тщательно разработанный план – как присоединиться к людям капитана Фомичева, которому (он об этом догадывался) было приказано занять здесь оборону на случай нового удара немцев от Куприяновки. Инну Вернадскую, девушку избалованную и не привыкшую к трудностям, пугала перспектива шестидесятикилометрового пути пешком – в эту жару и пыль; кроме того, она, как многие очень близорукие люди, без очков чувствовала себя совершенно беспомощной. Аришке Лисиченко было в общем-то все равно – идти или оставаться, но накануне она поспорилась с Галкой Полещук и сегодня, конечно, не могла так открыто принять ее сторону. Людмилу Земцеву побудили остаться два соображения – трудности пути (опасность налетов, отсутствие продовольствия и тому подобное) и то, что эту сумасшедшую Таньку нельзя оставить

без присмотра. А «сумасшедшая Танька» просто считала для себя позором дезертировать с оборонительных работ.

Она понимала уже, что дезертировать придется так или иначе; но если судьба предоставляла ей возможность побыть честным человеком еще несколько часов, то глупо было бы этим не воспользоваться. Да и мало ли что может за эти часы случиться!

Она брела следом за Глушко через пыльные вытоптанные огороды и очень ясно и отчетливо представляла себе один из возможных вариантов. Обещанная машина так и не приходит; вместо этого вечером на Семихатку прорывается фашистская танковая колонна и всем, естественно, приходится взять в руки оружие. Она – Татьяна Николаева, которую многие до сих пор не принимали всерьез, – проявляет в этом ночном бою чудеса отваги и собственноручно уничтожает три фашистских танка. А утром, уже в самый последний момент, приходит неожиданное подкрепление – и Сережа выносит ее с поля боя, раненную, почти при смерти...

Пустая хата, очевидно уже брошенная хозяевами, была завалена разнообразным военным снаряжением. Капитана не было, но предупрежденный им старший сержант, с такими же самодельными суконными треугольничками на петлицах, встретил гостей без всяких расспросов. Он объяснил им, где можно помыться, дал ведро – со строгим наказом принести обратно – и сказал, что лучше им пока отдохнуть в холодке, под навесом.

– Как вы думаете, скоро должна прийти машина? – спросила Вернадская.

– А шут ее знает, – сказал старший сержант, – как доберется. Придет – скажут вам, не бойтесь... Петунии! Слышь, сбегай до повара – пусть там подкинет на пятерых. Девчата, скажи, с окопов утекают...

В городе кончался знойный безветренный день, привычно пахло нагретым асфальтом и перегаром бензина, звенели и скрежетали трамваи, огибая вокзальную площадь. Шли окончившие дневную работу люди; все они торопились – кто домой, кто занять очередь за хлебом, кто забрать из яслей ребенка. Многим из них оставалось жить всего несколько часов.

Это был последний мирный вечер города, который еще считал себя тыловым. Еще жили, плакали и смеялись, целовались и ссорились люди, которым в течение ближайших суток суждено было превратиться в растерзанные клочья мяса, сгореть, задохнуться, сойти с ума. Все эти люди были еще живы. Они шли по тротуарам, толпились у дверей булочных, переходили через улицы на перекрестках. Было семь часов, и теплые летние сумерки густели среди акаций и каштанов, уже чуть тронутых желтизной приближающейся осени.

Четыре девушки только что сошли с машины на вокзальной площади, пропыленные до черноты и немного одуревшие от трехчасовой тряски в кузове. Они медленно шли к трамвайной остановке, нагруженные рюкзаками, с удовольствием ощущая под ногами ставшую уже непривычной гладкость асфальта.

– Если Володькина мама узнает, что мы вернулись, она сразу прибежит спрашивать, что с ним, – сказала Аришка. – Не надо, было нам его отпускать...

– Он не маленький, – возразила Вернадская. – Как бы ты его «не пустила»?

Они помолчали, потом Людмила сказала виноватым тоном:

– Конечно, мы должны были поговорить с тем капитаном. Нужно было сказать ему, что Володя собирается остаться, и чтобы он просто ему запретил. Глупость какая...

– Ничего не глупость, – сердито буркнула Таня. – Что вы понимаете! Он правильно сделал.

На остановке они распрощались. Людмила с Инной Вернадской пошли пешком, – обе жили недалеко, на Пушкинской. Потом Аришка уехала к себе в Замостную слободку, и Таня осталась одна.

Ей было невыразимо тяжело в этот вечер. Она была почти уверена, что дома не найдет ни одного письма: было бы слишком хорошо, если бы письма уже пришли и ждали ее. А ничего хорошего, казалось ей, уже не могло случиться в этом страшном мире.

Она стояла, опустив к ногам рюкзак, оглядывала знакомую, быстро темнеющую площадь и чувствовала, что может взять и разревется тут же, всем на удивление. Ей вспоминались то измученные лица беженцев на шоссе в Семихатке, то далекий вечер ее приезда в Энск – осенний дождь, запах резины от Дядисашиного плаща, мелькание незнакомых улиц за целлулоидными окошками «газика». С того вечера прошло пять лет.

А ровно год назад, когда она вернулась из Сочи, они с Люсей сидели на веранде вон того кафе, теперь заколоченного. Был жаркий солнечный день, с ветром, – еще ей в глаз попала соринка. Она тогда не захотела сразу с вокзала ехать домой, и они сидели с Люсей на веранде, ели мороженое и говорили о Сереже... Господи, неужели нет письма!

Этот вопрос бился у нее в голове все время, пока Таня ехала в трамвае, шла по бульвару Котовского, с колотящимся сердцем взбегала по тускло освещенной синими лампочками лестнице «дома комсостава». Писем действительно не оказалось.

Сразу обессилев, она опустилась на стоявшие в передней чемоданы. Потом ей вдруг пришло в голову, что письма могут быть у матери-командирши; она вскочила и выбежала на площадку. На звонок открыла соседка, – оказалось, что Зинаида Васильевна ушла провести куму на Новый Форштадт и сказала, что там и заночует. Таня хотела спросить насчет писем, но не решилась, боясь сразу потерять последнюю надежду.

Соседка зазвала ее к себе, расспросила об окопных новостях, рассказала несколько свежих сплетен. Некоторые предприятия в городе уже начали эвакуироваться, по карточкам, кроме хлеба, ничего нет, беженцы из Западной Украины почти все поехали, – уж у них-то чутье! От приглашения поужинать Таня отказалась, сказав, что прежде всего хочет выкупаться.

Она вернулась к себе, вошла в темную комнату с нежилым запахом пыли, на ощупь опустила маскировочные шторы и включила свет. Страшная тоска стиснула ее сердце. Как ни тяжело было там, в степи, но здесь она просто сойдет с ума. В одиночестве пустой квартиры, среди всех этих мелочей, каждая из которых была мучительным напоминанием...

Она присела к Дядисашиному письменному столу, опустив лицо в ладони, не в силах пошевелиться. Голова кружилась от усталости и была странно пустой – ни одной отчетливой мысли; на какой-то момент Тане показалось даже, что она впадает в полубморочное состояние.

Она заставила себя встать, разобрала рюкзак, потом вышла в ванную и попробовала краны. К ее удивлению, была даже горячая вода. Она ополоснула пыльную ванну и оставила ее наполняться, у себя в комнате достала из шифоньера чистое белье, полотенца, зеленый монгольский халатик; нет, оставаться жить в окружении всех этих вещей было просто невыносимо.

И тут же ее наотмашь ударило воспоминание о главном – о немецких танках в Куприяновке. Растерянно она обвела глазами комнату и вдруг с ужасающей – до слабости в коленях – отчетливостью поняла, что ей теперь нечего думать о будущем, потому что этого «будущего» может просто не оказаться. «Между Куприяновкой и Семихаткой нет никаких заслонов», – сказал тот капитан. Откуда же им вдруг взяться между Семихаткой и Энском?

Лежа в горячей ванне, она заставила себя не думать ни о чем страшном. Купанье ободрило ее, она опять почти поверила в то, что письма пришли и просто лежат у матери-командирши; завтра она их обязательно получит.

Телефон зазвонил, едва она успела выйти из ванной комнаты. «Танюша? – послышался в трубке голос Люси, какой-то странный, точно сдавленный. – Ты можешь сейчас прийти? Очень нужно, Танюша...» И тут же их разъединили, – то ли случайно, то ли Люся повесила трубку не ожидая ответа.

Таня стояла возле аппарата, ничего не понимая, кроме того, что у Земцевых что-то случилось, может быть – несчастье. Сон, который начал было одолевать ее после купанья, сняло как рукой; ей опять стало страшно.

Охваченная беспокойством, она торопливо оделась, погасила свет и выскочила на лестницу, хлопнув дверью. Дворничиха, стоявшая с двумя соседками у ворот, подозрительно уставилась на нее, очевидно не сразу узнав в темноте: последнее время в городе поговаривали о прчущихся на чердаках диверсантах, и дворники удвоили бдительность.

Направившись было к трамвайной остановке, Таня передумала и свернула налево, решив идти пешком. Трамвай делал большой крюк к стадиону, и к тому же вечером его можно прождать минут двадцать, – за это время она уже будет на Пушкинской.

Идти по затемненному городу было страшновато, да и небезопасно, если верить всяким слухам. Но сейчас Таня не испытывала никакого страха перед теми опасностями, которые могли поджидать ее на этих улицах; очевидно, нельзя бояться одновременно большого и мелкого – например, немцев и какого-нибудь пьяного хулигана.

Улицы были спокойны. Прохожих было уже немного, но люди сидели на скамейках бульвара, на ступеньках крылец, на вынесенных из дома стульях, – молчаливые фигуры, посвечивающие угольками папирос или тихо беседующие. День был очень жарким, и сейчас усталые люди наслаждались вечерней прохладой. Движение прекращалось уже и на центральных улицах, а в тенистых боковых переулочках было и вовсе тихо.

Таня шла знакомым, тысячи раз исхоженным путем. На углу улицы Коцюбинского, где начиналась длинная решетчатая ограда биологического института, она машинально вскинула голову: институтский сад славился громадными клумбами душистого табака, сильный и пряный аромат раскрывшихся к ночи цветов чувствовался уже здесь, почти за квартал. Таню снова охватило это странное ощущение раздвоенности окружающего, которое, по сути дела, не покидало ее с первых дней войны.

Это ощущение не так просто было выразить словами, да Таня никогда и не пыталась его выразить; она почему-то боялась говорить о нем даже с Люсей. Но само по себе ощущение было совершенно отчетливым.

Сейчас, например, Таня решительно не могла хоть как-нибудь увязать в своем сознании эти две стороны действительности – свои непосредственные ощущения и то страшное, неотвратимое, что надвигалось на нее со всех сторон. Теплая августовская ночь, запах цветущего табака – и немецкие самолеты, ревущие над степными дорогами, неубранная и вытоптанная пшеница, толпы беженцев, рокот немецких танков под Куприяновкой. В том, что все это сосуществовало одновременно, неразрывно переплетаясь одно с другим, было что-то непостижимое, чудовищное, способное довести до безумия...

Она вдруг почти со страхом ощутила свою молодость, свое здоровье, свое отличное физическое самочувствие, – именно сейчас, в ласковой тишине этого обманчивого вечера. Она чувствовала себя особенно бодрой и освеженной после горячей ванны, без следа исчезла недавняя усталость, все ее тело было легким и в то же время сильным – как великолепный, гибкий и безотказный механизм; упругая легкость каждого шага, прикосновение ветерка, прохладно скользнувшего по щеке и тронувшего пушистые от мытья волосы, ласкающая невесомость одежды – все наполняло ее каким-то особым, обостренным ощущением радости жизни. Но места для радости в ее мире уже не было.

Таня сама не заметила, как оказалась на Пушкинской. Отворив скрипнувшую калитку, она вошла, привычно повернула за собой деревянную вертушку и направилась к дому. На крыльце, едва различимом среди разросшихся кустов сирени, что-то шевельнулось при ее приближении.

– Это я, не бойся, – раздался в темноте голос Людмилы, с той же странной интонацией, встревожившей Таню полчаса назад, по телефону. – Входи осторожно, здесь темно.

– Люсенька, что случилось?

Таня вошла в прихожую и, положив палец на выключатель, подождала, пока дверь закроется. Нажав рычажок и обернувшись к Людмиле, она обмерла, пораженная видом подруги.

Та явно плакала, и совсем недавно. Это было необычным для всегда сдержанной Люси; к тому же она до сих пор не помылась и не переделалась, – на ней было то же грязное платье и те же серые от пыли парусиновые тапочки.

– Что-нибудь... с твоей мамой? – спросила Таня испуганным шепотом.

– Мама улетает. Завтра утром. Идем сюда...

Они вошли в большую столовую, очень душную от наглухо занавешенных окон.

– Я ничего не понимаю, – сказала Таня. – Улетает – куда?

– Недалеко, в Среднюю Азию. – Людмила усмехнулась и отошла к буфету. Заложив руки за спину, она прислонилась к резной двери, глядя куда-то в угол, мимо Тани.

– Нашли время для командировок, – сказала та. – И надолго?

– Какая командировка, что ты глупости говоришь, – Людмила опять усмехнулась. – Институт эвакуируется. Поняла теперь?

Да, теперь Таня все поняла. Институт эвакуировался; конечно, если немцы уже в Куприяновке... Тут же ее ужалила мысль о том, что вместе с Галиной Николаевной должна уехать и Люся, а она останется здесь, брошенная всеми; но эта вспышка эгоистической жалости к себе тотчас же погасла, едва Таня сообразила, что речь идет об отъезде одной Галины Николаевны.

– Как? – ахнула она. – А ты?

– А я пока остаюсь. – Людмила пожала плечами, и губы ее дрогнули. – Слушай, давай откроем окна, здесь задохнуться можно...

Она погасила свет и распахнула настежь все три окна. В комнате повеяло свежестью.

– Люсенька, но как же так, – сказала Таня растерянно – Я все-таки не понимаю...

– Я тоже сначала... не поняла, – с горечью отозвалась Людмила откуда-то из темноты. –

Но мама мне объяснила. Все очень логично, Танюша. Мама и ее ближайшие сотрудники вылетают на место, чтобы руководить монтажом установок. О семьях не может быть и речи. Понимаешь? Все остальные едут эшелонами, и семьи тоже.

– Когда? – упавшим голосом спросила Таня. Не знаю. В течение недели, что ли. Это все поручено Кривцову, заместителю директора. Мама записала тебя как свою племянницу. Ты учти это.

– Меня?!

– Ну да. Мама сочинила целую историю – будто ее сестра была замужем за братом Александра Семеновича...

В эту минуту взвыли сирены – сразу в разных концах города.

– Опять эта дурацкая тревога, – с досадой сказала Людмила, подойдя к окну. Поднялась и Таня. Стоя рядом у окна, открытого в сад, они слушали железные голоса, наполнившие ночь отчаянным, точно предсмертным криком.

– Люся, я... я очень благодарна твоей маме за то, что она меня записала, – сказала Таня, запинаясь, – но я все-таки не понимаю, как она... как Галина Николаевна может сейчас лететь без тебя... Я понимаю, может, это так и нужно... для ее работы... но все равно, я никогда бы...

Она так и не окончила фразу, потому что небо перед ними, за секунду до этого мерцавшее звездами над темными кронами деревьев, полыхнуло вдруг чудовищной багровой зарницей» второй, третьей, – и эти вспышки еще мчались по небу, гася одна другую, когда дом весь сотрясся от докатившейся до него волны ни с чем не сравнимого грохота.

Словно отброшенная от окна, Таня метнулась к выходу, с размаху налетев на что-то в темноте. «Да скорей же!» – крикнула Людмила, стоя в дверях, на секунду выхваченная из мрака очередной вспышкой за окнами. Они выбежали в сад, – небо тем временем погасло, и несколько секунд все было тихо, только кое-где продолжали кричать сирены; но тут же снова багровые вспышки разорвали мрак, а грохот – тишину. И после этого тишины уже не было.

Прятаться в саду Земцевых было негде. Когда-то, в первые недели войны, Таня предложила вместе выкопать щель «на всякий случай», но Галина Николаевна отнеслась к этой идее

скептически, Людмила вообще не умела держать в руках лопату, а Таня хотя и научилась этому в дружине ПВО, но слишком уставала за день, чтобы работать еще и по вечерам. Она по всем правилам вбила колышки между кустами сирени, натянула шнур, и тем дело и кончилось.

Сейчас они вспомнили об этой щели, лежа по обе стороны заросшего лебедой бугорка, очевидно когда-то бывшего клумбой. «Я же тебе говорила! – крикнула Таня, приподняв голову. – Сидели бы сейчас и ничего не боялись!» Людмила ответила что-то, но новая волна грохота, шквалом обрушилась на сад, пригибая кусты, и Таня судорожно вцепилась пальцами в сухую траву, подавляя вспыхнувшее вдруг паническое желание вскочить и куда-то бежать.

Потом она немного опомнилась и постаралась взять себя в руки. Вспышки уже не сменялись мраком, как вначале; очевидно, много пожаров зажгли первые бомбы, и все небо теперь посветлело, медленно наливаясь тусклым заревом, словно раскаляясь. Таня с ужасом подумала, какую отличную цель представляет сейчас этот гигантский костер, пылающий в непроглядном мраке ночных степей и с воздуха заметный, наверное, уже за сотню километров...

Бомбы продолжали рваться – то дальше, замедленно докатываясь тяжелыми громовыми волнами, то ближе, с нестерпимым трескучим грохотом, яростно раздирая воздух, словно гигантское полотнище. В короткие минуты затишья слышно было, как гулками торопливыми ударами бьют где-то зенитные пушки, – звук этот был Тане уже знаком. Сейчас он показался ей отраднее самой лучшей музыки. «Так их, так их!» – шептала она лихорадочно, до боли стискивая кулаки. Ей вспомнился «мессершмит», сбитый сегодня утром над Семихаткой, и она вскочила на колени и запрокинула голову, страстно желая увидеть в багровом небе падающие немецкие бомбардировщики. Но в небе было только зарево, разгорающееся с каждой минутой все ярче и страшнее...

Домой она вернулась только под утро, вся в пыли и копоти, с мучительно ноющим ожогом на левой руке, – раскаленная головешка упала на нее, когда она бежала мимо горящего здания биологического института. Оказалось, что домой можно было не возвращаться: мать-командирша так и не пришла, дружину никто не собирал. Впрочем, остаться у Люси до утра значило бы увидеться с Галиной Николаевной, а этого Тане не хотелось.

Войдя в комнату, она почувствовала, что едва держится на ногах. Голова кружилась от усталости и голода, – в последний раз они ели в Семихатке, у тех саперов. Таня вспомнила, что сержант дал им в дорогу по буханке хлеба и по банке консервов. Поесть и заснуть – никаких других желаний у нее уже не оставалось.

Пощелкав выключателем, – света, конечно, не было, – она подняла маскировочную штору, на ощупь нашла в ящике буфета консервный нож. Хорошо бы пойти вымыть руки. А что делать с ожогом? Где-то в аптечке должен быть вазелин. Хотя нет, вазелин она брала с собой. Девчонки расправились с ним за два дня, – у всех трескались обветренные губы. А теперь вот нечем смазать ожог. Всегда так. И почему он болит все сильнее и сильнее, теперь уже ломит всю руку до локтя, надо же было случиться такому именно сегодня... Таня сидела в темноте, ножом выковыривала из банки застывшие куски мяса и, жуя и всхлипывая, не отрывала глаз от зловещего, во все небо, какого-то прямо печенежского зарева за окнами.

Поев, она прилегла тут же на диване, не раздеваясь, на минутку, – и проснулась от света и грохота. Комната была залита солнцем, а дом трясся, точно собирался рассыпаться на куски. Сообразив, что это опять бомбежка, Таня в первый момент испытала даже не столько страх, сколько возмущение, какую-то наивную обиду: и ночью, и утром, сколько же можно! Впрочем, это был даже не момент, а какая-то его доля, микросекунда, – и тут же страх, панический, нерассуждающий ужас обрушился на нее, комкая волю и сознание. Она была уже у двери, когда тугой удар воздуха отшвырнул ее к стене. Падая, оглохнув от грохота, она успела увидеть, как бесшумно и почему-то медленно, как во сне, брызнули стеклами и вылетели наружу оконные рамы вместе с обрывками черных маскировочных штор.

Позже она не могла припомнить об этом утре ничего, кроме бессвязной мешанины, похожей на перепутанные куски изрезанной киноленты. Люди мчались по лестнице, тут и там хлопали двери, посреди двора сидел зашедшийся в крике ребенок, а люди бежали и бежали мимо него, – и она сама стояла на крыльце, прижавшись спиной к еще прохладным по-утреннему кирпичам. Ей было страшно перебежать открытое пространство двора, и она стояла, прижимаясь к стене, с запрокинутой головой, а над нею, над бегущими людьми, над крышами и каштанами под каким-то немислимым углом падал с ослепительного августовского неба железный коршун с распростертыми угловатыми крыльями и широко расставленными вытянутыми вперед лапами. Ребенка все-таки подхватили и унесли, а воющий хищник, продолжая падать, скрылся за линией карниза, и тогда она решилась и побежала через двор. Потом была щель, темная узкая нора, пахнувшая землей и скученными в тесноте людьми, и эти люди плакали, ругались и молились, – одни шепотом, другие громко; захлебываясь, плакали дети, а земля вздрагивала и словно раскачивалась от бомбовых ударов, и так продолжалось час, и два, и наконец время вообще прекратилось и остались его раздробленные куски – отдельные короткие существования от одного взрыва до другого, наполненные животным страхом, потом безразличием, а потом одной-единственной мыслью: «Скорее бы все это кончилось, скорее бы прямое попадание, смерть, что угодно...»

Глава 2

План Володи Глушко был прост: остаться на хуторе до тех пор, пока не прекратится движение по шоссе, а потом явиться к капитану Фомичеву и поставить его перед фактом. После того как последние беженцы пройдут через Семихатку, никто не прогонит его в степь одного, – как бы ни отнесся капитан к появлению незваного добровольца. Еще лучше сделать это, когда на шоссе появятся немцы. В бою-то уж и вовсе не отказываются от лишнего бойца!

На ночь Володя устроился на неубранном картофельном поле, выбрав место так, чтобы можно было держать под наблюдением крайние хаты, где разместилось хозяйство Фомичева. Хорошо замаскировавшись пыльной пахучей ботвой, он поужинал хлебом и консервами, запил их теплой водой из фляги и с наслаждением закурил огромную самокрутку, очень довольный собой, своей находчивостью и предусмотрительностью. Вовремя вспомнив о международных законах ведения войны, он позаботился даже о том, чтобы раздобыть красноармейскую форму: в мешке у него лежали шаровары, гимнастерка, пара обмоток и брезентовый пояс, выменянные сегодня здесь же в Семихатке на старый лыжный костюм.

Костюм этот навязали ему дома – на тот случай, если по ночам будет холодно. Володя долго пререкался на этот счет и потом несколько раз давал себе слово выбросить барахло к черту, но так и не выбросил (вспомнил маму и устыдился). А сегодня вечером, когда он зашел в одну из хат выпить, хозяйка спросила, нет ли у него на обмен какой-нибудь «вольной одежды», и по нерешительному, опасливому тону, каким был задан вопрос, Володя сразу догадался, что у молодухи прячется дезертир; давно мечтая о комплекте обмундирования и совершенно не зная, где его можно раздобыть, Глушко решил не упускать случая.

Лыжный костюм был извлечен из мешка, тщательно осмотрен и оценен в полкило сала, но Володя от сала отказался. Когда он объяснил молодухе, что ему требуется, та испугалась и стала уверять, что у нее сроду не было никаких гимнастеров. «У вас или не у вас, меня не интересует, – решительно сказал Володя, отбирая назад лыжный костюм. – Поищите у соседей, дело ваше...»

Кончилось тем, что почти все требуемое – за исключением сапог и пилотки – в хате нашлось...

Сейчас он лежал среди пахучей картофельной ботвы, курил с видом бывалого солдата, пряча огонь в горсти, и прислушивался к затихающему шуму движения на шоссе. Его стало клонить в сон, потом пришла мысль, что ночью кто-нибудь может наткнуться на него, спящего, и свистнуть мешок с драгоценным обмундированием. Тогда он достал его, любовно оглядел и переоделся. Много времени пришлось повозиться с обмотками, – он не знал, откуда их лучше наматывать, снизу вверх или сверху вниз, и как закреплять конец. Ботинки у него были хорошие, красноармейские, второго срока, – память о щедрости окопного начальства; так что все было в порядке. Утром только достать пилотку...

Ночью он проснулся внезапно, как от толчка. Было очень тихо, лишь время от времени взбредивала на хуторе собака. Обильная роса поблескивала в лунном свете на измятых стеблях картофеля. Володя прислушался и встал, потирая затекшую во сне руку. Откуда-то издалека доносился шум моторов, но машины – или танки – шли не по главному шоссе, а где-то южнее; по горизонту, на севере и на западе, мерцали, словно перебегая, бледные беззвучные вспышки. Потом он повернул голову и увидел далекое зарево над Энском.

Что это был именно Энск, он понял не сразу. В первый момент он подумал, что колхозники жгут неубранный хлеб, потом удивился, что его зажгли не под Куприяновкой, а так далеко к востоку; и только тогда, словно вдруг увидев перед собой развернутую карту, понял, что этим тускло-раскаленным световым пятном обозначено место, где лежит его город...

Он не особенно испугался просто потому, что не видел до сих пор ни одной серьезной бомбежки. Несколько ночных тревог, которые пережил Энск в конце июля, почти не имели последствий, если не считать десятка разрушенных домов и двух-трех местных пожаров; Володя втайне почти желал, чтобы таких «налетов» было побольше, – все-таки интересно, и опять же есть возможность проявить выдержку и героизм. Ему страстно хотелось поскорее дорваться до хорошей зажигалки, будь то фосфорная или термитная, и он дал себе слово, что первая же, которую потушит собственноручно, украсит его письменный стол своими обгорелыми останками. Черт возьми, лет через двадцать это будет потрясающий сувенир!

Поэтому он и смотрел сейчас на горящий в шестидесяти километрах от него город, не испытывая ничего, кроме тревожного любопытства; он совершенно не представлял себе возможных размеров пожара, зарево от которого было бы видно за шестьдесят километров. Ему вспомнился вечерний налет двадцатого июля, когда горели сельхозснабовские склады в Старом Форштадте. Он тогда организовал всех ребят по соседству, и они до утра работали вместе с пожарными и дружиной противовоздушной обороны мотороремонтного завода. Это было здорово!

Потом он вдруг точно со стороны увидел себя в этой фантастической обстановке – одного в безмолвной ночной степи, охваченной кольцом далеких пожаров, – и до содрогания, до какого-то восторженного озноба пронзило его чувство огромной, неповторимой значимости того, что происходило вокруг него в эту ночь. Словно из какого-то немыслимого четвертого измерения, из совершенно иных систем отчета времени и пространства видел он сейчас себя, и миллионы своих сверстников, и всю эту землю, будничную и обычную, на которой буднично, без патетики и романтизма, сама История медленно поворачивала сейчас курс человечества – на века вперед...

«Звездный час», – подумал Володя, вспомнив недочитанного дома Цвейга. Впервые в жизни ему стало жаль, что он не умеет писать стихов. Он снова лег, подмостив под голову рюкзак, и заснул так же внезапно и неожиданно.

Утром его разбудило солнце. Оно стояло уже довольно высоко, – было часов восемь, не меньше. Мгновенно вспомнив все вчерашнее, Володя настороженно привстал и огляделся, потом поднялся на ноги, оправляя гимнастерку. На шоссе было тихо, на хуторе тоже. Странная эта тишина кольнула его каким-то тревожным предчувствием; он постоял немного, прислушиваясь и озираясь, потом вскинул на плечо рюкзак и решительно направился к крайним хатам.

Его гражданская одежда – линиялая ковбойка и брюки – вместе с лопатой осталась лежать среди смятой картофельной ботвы.

В вишневом садочке, где еще вечером стояли повозки Фомичева, было пусто. Несколько разбитых ящичков, пустая катушка из-под телефонного провода, сломанное дышло, навоз и клочья сена на месте снятой коновязи – и ни души вокруг. У Володи замерло сердце. Почти бегом он пересек двор и, не стуча, рванул покосившуюся дверь хаты.

– Эй! Есть кто-нибудь? – крикнул он, вглядываясь в пахнущую глиняными полами и застарелым саманным дымком темноту. – Хозяева!

Никто не ответил. Володя открыл рот, чтобы позвать еще раз, но тут же понял, что звать некого. Ему уже все стало ясно: хутор покинут.

Пока он спал, отсюда ушли саперы капитана Фомичева, ушли и жители. Во всяком случае, – большинство. Кое-кто, несомненно, здесь остался (он вспомнил вчерашнюю молодуху с ее схоронившимся где-нибудь в клуне дезертиром), но как раз эти едва ли захотят вступать в разговоры и объяснения с человеком в военной форме!

Все было ясно. По своей собственной глупости он проворонил отход арьергарда и теперь остался один. Один на ничьей земле, в двух шагах от грейдера, по которому через час-другой промчатся – если еще не промчались! – мотоциклисты со свастикой на рогатых шлемах...

Впервые Володе стало по-настоящему страшно. Во рту у него сразу пересохло, и ноги сделались какими-то ватными, как после долгой болезни. «Спокойно, спокойно, – сказал он себе. – Главное – без паники! Сейчас нужно уходить, это прежде всего. И не заглядывать по хатам – мало ли на кого можно нарваться...»

Он отошел от двери, настороженно осматриваясь. На первый взгляд вокруг все казалось обычным. Так же беспечно тянулись к солнцу розовые и лиловые цветы высоко разросшейся вдоль плетня мальвы, мирно дозревали в тишине подсолнухи, дремотно опустив почерневшие уже шляпки, солнечная рябь перебегала по темной листве вишен; и тем более противоестественной и зловещей была тишина, мертво висящая над всем этим великолепием августовского утра. Брошенный хутор казался внезапно вымершим от какой-то страшной чумы.

Володя покинул двор тем же путем, что и пришел, – через перелаз в плетне, брошенными и вытоптаннами огородами. Обогнув хутор задами, он свернул было к грейдеру, но остановился в нерешительности. Немцы, если они где-то близко, будут продвигаться вдоль шоссе или, по крайней мере, возьмут его под наблюдение. Безопаснее, хотя и медленнее, идти полями...

Он прошел так около часа, держа направление по солнцу, окруженный шуршащим морем высокой перезрелой пшеницы. Солнце поднялось выше, теперь оно уже не так слепило глаза, но зато начало вовсю жечь голову и плечи. Идти становилось все труднее.

Все чаще он останавливался, тяжело дыша, мокрым рукавом гимнастерки размазывая по лицу пот, и с тоской поглядывал вправо, где над золотым разливом колосьев дрожали в знойном мареве тоненькие вертикальные черточки – телеграфная линия вдоль грейдера. Он пытался припомнить, прямо ли идет шоссе; если оно петляет, то ему ни к чему ориентироваться на эти проклятые столбы, а лучше идти напрямик по солнцу. Правда, так можно забрести далеко в сторону, – утром и вечером тень служит надежным компасом, но когда солнце почти в зените...

Он с отчаяньем выругался, подумав, что ничему по-настоящему полезному не научили его за все эти десять лет. Вырастили какое-то тепличное растение, ни к черту не годное, ни черта толком не знающее. Неспособное даже с уверенностью определить точное направление по солнцу, будь оно проклято...

Направление, направление. А что в нем толку? У него ведь все равно нет карты, и он совершенно не знает, точно ли на запад от Энска расположена эта Семихатка, или чуть севернее, или чуть южнее! А это «чуть» может завести к черту на кулички. Что бы он сейчас отдал за обрывок карты и самый примитивный компасишко! Подумать – сколько их было когда-то, в любом магазине, а сколько этих латунных и пластмассовых круглых коробочек перебивало у него, выменянных и снова разменянных на марки, на радиодетали, на перочинные ножики...

Гул самолетов заставил его поднять голову. Шестерка одномоторных машин с характерными очертаниями крыла – широкого в центроплане и резко суживающегося к угловато обрубленным концам – прошла над ним прямо на восток, на высоте около километра. За нею, почти следом, вторая.

«Ю-87, – привычно определил Володя. – Экипаж два человека, скорость около трехсот пятидесяти, бомбовая нагрузка пятьсот. Является у немцев основным типом тактического бомбардировщика. В самом деле, тактического...»

Будь это «хейнкели» или «дорнье», их присутствие здесь ничего бы ровно не значило; они могли лететь с любым заданием, вплоть до Донбасса. Но эти пикировщики, как правило, оперируют в прямом взаимодействии с наземными войсками... или применяются для разрушения объектов за линией фронта, но опять-таки в связи с непосредственными тактическими задачами. Значит...

«Сейчас это выяснится, – сказал себе Володя, провожая взглядом третью группу пикировщиков. – Очень скоро. Если они идут бомбить отходящие арьергарды – это будет слышно.

За ночь те не успели уйти далеко, а километров за десять – пятнадцать бомбы слышать можно. Особенно в такой безветренный день. Но если будет тихо, то тогда это на Энск».

Он стоял и прислушивался – очень долго, почти полчаса, как ему показалось. Из голубого марева, в котором скрылись немецкие самолеты, не доносилось ни звука.

Какие там к черту арьергарды, говорил он себе, снова тронувшись в путь, яростно расшвыривая в стороны пыльные колючие колосья – зерно с шорохом осыпалось ему на ботинки. Ясно, что они пошли на Энск. Никто не отправит пикирующие бомбардировщики разгонять толпы эвакуированных, – для этого достаточно звена истребителей. Если бы там, впереди, были укрепления, окопы, – другое дело. Тогда посылать пикировщиков был бы смысл. Но укреплений никаких нет, ты же это знаешь. Ничего нет. Ни хрена! Открытое грейдерное шоссе до самого Энска – и драпающие по нему «аррьергарды»...

Его уже давно мучила жажда, но он знал, что, если позволит себе пить, будет еще хуже. Кроме того, – он вспомнил об этом слишком поздно, – фляга была почти пуста, и неизвестно, где он ее сможет теперь наполнить...

Он шел и шел, стараясь не думать ни о воде, ни о расстоянии, которое ему предстояло пройти, ни о том, что делается в эту минуту в Энске. Начав считать шаги, он сбился после трех с чем-то тысяч; будь у него часы, он смог бы хоть приблизительно определить скорость своего, движения, но часов не было, и ему оставалось только гадать – четыре ли километра удастся ему пройти в час, или три, или того меньше. Если бы не эта проклятая пшеница! Слабое движение воздуха едва обдувало его лицо, но все тело, казалось, жарилось в духовой печи.

В конце концов, окончательно выбившись из сил, Володя махнул рукой на всякую осторожность и повернул направо, к шоссе.

Разбитый тысячами колес, прокатившихся по нему за последние дни, грейдер был теперь так же пустынен и производил такое же мертвое впечатление, что и брошенная жителями Семихатка. Грунтовая дорога, идущая за кюветом параллельно грейдерной, была изрезана глубокими колеями и ухабами, по обеим сторонам тянулись широкие полосы вытоптанной пшеницы; кое-где хлеб выгорел – остались черные, седые от пепла прогалины. Странно, что у кого-то еще находилось время его тушить.

И для чего? Наоборот, надо было жечь и жечь, оставляя немцам черную пустыню от горизонта до горизонта. Как делали скифы. Или отступавшие верили, что враг сюда не дойдет?

Эта мысль придала Володе бодрости. В самом деле – пока никакого врага не видно. Да и идти здесь было куда легче, – ленивый ветерок дул вдоль дороги, не поднимая пыли и лишь временами завихривая легкий пепел на выгоревших местах вдоль обочин.

Все чаще и чаще попадались теперь следы отступления: брошенная повозка без дышла, со сломанным колесом, свисающие со столбов оборванные провода, запутавшийся в колючих листьях татарника бинт в бурых пятнах. Отбегавший свое «газик», с которого уже успели снять колеса и сиденья, валялся в кювете, зияя полуоторванной дверцей.

При приближении Володи коршун взлетел с крыши раскулаченного автомобиля и стал плавными кругами набирать высоту.

Самолеты, на которые Володя уже не обращал внимания, гудели теперь над ним почти непрерывно. Одни шли на восток, другие – на запад. Упрямо шагая по обочине, он безуспешно старался ограничить свои мысли узким кругом самых конкретных, насущных вопросов. Сколько километров он уже прошел, какую часть пути может это составлять? Где ему удастся нагнать своих и где встретится первый колодец? Стоит ли отдохнуть и поесть сейчас, или немного погодя? И что вообще рациональнее – чаще отдыхать понемногу или позволять себе более основательный отдых после долгого перехода?..

Он думал обо всем этом, но за этими мыслями неотступно проступали другие, более важные, и его сознание словно расслоилось на два параллельных, перекрывающих друг друга, потока. Словно рассеянный оператор отснял на одну ленту два разных сюжета. Решив наконец

отдохнуть, Володя сел на откос кювета, вытащил из мешка хлеб, флягу, несколько сорванных утром помидоров. Эх, соли бы! Странно, что всегда во время войны соль становится остродефицитным товаром. Можно подумать, что она идет на изготовление взрывчатых веществ...

Как странно быть потерянным! За все утро (а сейчас солнце уже перевалило за полдень) он не встретил ни единой живой души – здесь, где еще вчера брели толпы. В «Цусиме» есть эпизод: смытый за борт матрос кричит о помощи, но уже начался бой, и его не слышат, и корабли эскадры уходят все дальше и дальше. Утонет матрос, потом утонут и броненосцы. Один за другим. Как они там назывались? «Орел», «Ослябя», «Александр III», «Суворов», «Бородино»...

Может быть, к вечеру он догонит своих. Лучше идти всю ночь, чем снова заночевать одному в степи и утром увидеть немцев. Гутен морген, я ваша тетя!

Он допил из фляги последний глоток теплой, пахнувшей алюминием воды. Зной стоял вокруг него весомо и неподвижно, подобно тяжелому перенасыщенному раствору. В пыльной придорожной траве заводными металлическими голосами верещали кузнечики, над золотым разливом хлебов кружил и кружил на распластанных крыльях степной коршун. Еще выше, сотрясая небо мрачным торжествующим ревом, плыли над степью шестерки «юнкеров».

Острое отчаянье овладело им. Неизвестно, что делается дома, неизвестно, что будет с ним самим. Если бы только у него было оружие! Почему он должен убегать через эту пустую степь, безоружный, отданный на милость первого же немецкого автоматчика, – как это стало возможным? Как стало возможным, что его, украинца, немец гонит по украинской земле? Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что сегодня в украинском небе безнаказанно режут немецкие моторы?

Что толку задавать вопросы, на которые все равно не будет ответа. Лучше подумать о том, где достать воды. Когда будет первый колодец или какой-нибудь ручеек в балке... хотя какие же тут ручьи – в середине августа. Нет, до ближайшего хутора о воде нечего и думать.

Часа через два, преодолев очередную балку, Володя увидел далеко впереди темную кущу тополей и сияющие под ними белые квадратики стен. К этому времени его уже так измучила жажда, что он даже не подумал о возможности нарваться на немцев; только подходя к крайней хате, он вспомнил об этой опасности, но тут же решил, что предпринимать какие-нибудь меры предосторожности сейчас уже поздно. Будь что будет!

Но немцев на хуторе не оказалось, как и наших военных. Жители зато были – старики, бабы, довольно много детишек. Наши, объяснили они Володе, снялись отсюда утречком, как засветало; а немцев покуда не было, бог миловал. Володя стащил через голову пропотевшую гимнастерку и с наслаждением вылил на себя полное ведро студеной колодезной воды, потом капитально пообедал в одной из хат. После короткого отдыха он снова тронулся в путь, с рюкзаком, заметно прибавившим в весе благодаря щедрости сердобольных хуторянок.

Вечером его задержали на окраине Калиновки. Володя так обрадовался при виде красноармейцев, что даже не сразу понял, о чем его спрашивают. А спрашивали его о документах.

Продолжая возбужденно говорить, он ощупал левый нагрудный карман, потом правый; потом осекся и замолчал, улыбка его стала растерянной и ненужной, словно случайно забытой на лице. «Что за черт, – бормотал он, лихорадочно роясь в карманах шаровар. – Неужели... да нет, я же помню... я ведь хорошо помню...»

– А ну, руки с карманов! – крикнул один из задержавших его. – Уверх, уверх!

– Да что вы, товарищи, – не веря своим ушам сказал Володя. – Ну хорошо, пожалуйте... Неужели вы думаете?..

Он пожал плечами и поднял руки; его быстро обыскали, потом боец развязал рюкзак и порылся внутри.

– Пошли, – сказал он, вешая рюкзак себе на плечо. – Давай шагай!

– Вы понимаете, – сказал Володя упавшим тоном, – документы, очевидно, остались в Семихатке – когда я переодевался...

– Ладно, там расскажешь, – враждебно прозвучало у него за спиной.

Его вели по середине пыльной широкой улицы, мимо выбеленных крейдою хат, белеющих в сумерках под высокими очеретяными крышами, мимо плетней с торчачими на кольях макитрами, мимо повозок, полевых кухонь и притаившихся под тополями машин, от которых тревожно и странно в тишине этого мирного сельского вечера пахло испарениями солянки и бензина, смазочными маслами, резиной, остывающим металлом.

Они вошли во двор, потом в темные сенцы. Один из конвоиров остался с Володей, другой пошарил рукой в темноте, звякнул щеколдой и открыл дверь в ярко освещенную горницу.

– Товарищ старший политрук, – сказал он, стоя на пороге, – задержали тут одного, может, побачите? Сам каже, шо переоделся, и документов нияких...

– Опять переодетый, – отозвался голос. – Давайте его сюда!

Володю ввели и поставили перед столом, на котором празднично горела двадцатилинейная «молния» с тщательно протертым стеклом. Командир, сидевший за столом, продолжал писать; Володя молча разглядывал его рыжеватые, с проплешиной, волосы, звезду на рукаве и быстро бегающий по бумаге огрызок химического карандаша.

– Ну, – сказал старший политрук, дописав страницу, и поднял на Володю глаза давно не отдыхавшего человека. – Рассказывайте, если намерены это делать. Звание-то у вас какое было – лейтенант? Или младший?

Володя уставился на него изумленно. Потом на смену изумлению пришел испуг – когда он до конца сообразил, в чем его подозревают,

– Товарищ старший политрук, – заговорил он, волнуясь, – вы можете мне не верить, но это все совсем не то, что вы сейчас думаете. Я не командир, я вообще еще не в армии – я еще только собирался...

Он торопливо, избегая ненужных подробностей, рассказал о том, что с ним случилось. Старший политрук слушал молча, положив перед собой сцепленные кисти рук, поглядывая то на Володю, то на разбросанные по столу бумаги.

– Значит, вам захотелось повоевать, – сказал он, когда Володя закончил свой рассказ. – Желание понятное, если учесть возраст. Может быть, проще было осуществить его через военкомат?

– Вы не представляете, товарищ старший политрук, какие там сидят формалисты, – возмущенно сказал Володя. – Вы думаете, мы не пытались – с первого дня!

– Ясно. Так вот что... Глушко. Вы парень грамотный, сознательный, даже вот собирались добровольно вступить в ряды Красной Армии... выходит, в обстановке разбираетесь, отдаете себе отчет, насколько она серьезна. Верно?

Он вскинул голову и посмотрел на Володю. Тот кивнул:

– Верно, товарищ старший политрук.

– Так вот. Теперь представьте себя на моем месте и постарайтесь решить, что я должен с вами сделать. Задача ясна? Условия простые, Глушко: к вам приводят задержанного без документов, и тот рассказывает не совсем обычную, но в общем довольно правдоподобную историю. В то же время есть основания подозревать, что история эта выдумана. В лучшем случае, задержанный может оказаться младшим командиром, который переоделся в гимнастерку рядового – чтобы скрыть звание и дезертировать. А в худшем – он может быть и шпионом. Ну, так что вы решаете – на моем месте? Учитывая обстановку, вы имеете право отпустить такого человека или обязаны его задержать?

Володя пожал плечами:

– Ну, ясно... нужно проверить, я понимаю...

– Верно, Глушко. К сожалению, нужно проверить, а до окончания этой проверки придется вас задержать. Садитесь сюда, вот вам бумага, карандаш, и давайте пишите все подробно: где родились, где крестились – только постарайтесь ничего не забыть и не напутать...

Глава 3

Увязав последний чемодан, они снесли его вниз на тележку, потом Таня вернулась наверх и обвела комнату взглядом, равнодушно пытаясь вспомнить, не забыто ли что-нибудь.

Впрочем, даже если что-то осталось... какое это теперь имеет значение! Вот уже почти два месяца, как жизнь на ее глазах обнажается, сбрасывая одну ненужную оболочку за другой. Как будто чистят луковицу – если применить такое кухонное сравнение.

Вещей и понятий, без которых можно обойтись, становится с каждым днем все больше, а круг по-настоящему нужного для жизни все суживается. Здесь можно позволить себе сравнение более изысканное – с шагреневой кожей. В конце концов, очевидно, действительно необходимым остается лишь то, что можно унести в сердце. Например, надежда. Впрочем, подумала Таня со вздохом, все это философия; без одежды и хлеба тоже не проживешь. Поэтому и приходится совершать эти первобытные путешествия через дымящуюся исковерканную пустыню, еще недавно бывшую центром города. Слава богу, это уже последнее.

Она еще раз обвела взглядом комнату. Погнутая люстра, оборвав проводку с решетчатого от голых дранок потолка, валяется на столе, полы засыпаны раскрошенной штукатуркой, в ее спальне сиротливо поскрипывает на сквозняке раскрытая дверца шифоньера. Книга, выпавшая из шкафа вниз корешком, раскрылась, и ветер лениво пошевеливает страницы. Таня подошла, тронула книгу Nordfi и перевернула. Павленко – «На Востоке». Как ее когда-то читали! Она усмехнулась и вышла, нашаривая в кармане ключи.

«Николаева переехала на Пушкинскую, дом 16. Почту прошу опускать сюда, я буду захо...» – кусочка мела не хватило на последнее слово, Таня подняла с пола обломок штукатурки, но он крошился и почти не оставлял следа. Ничего, разберут и так.

Она постучала к соседке, – та открыла сразу, точно стояла за дверью, ожидая ее звонка.

– Анна Федосеевна, – сказала Таня, – я квартиру заперла, просто чтобы письма не пропали, если принесут; я написала, что буду заходить, но если вам что-нибудь из мебели нужно, то пожалуйста. Там ведь все равно все пропадет, как только пойдут дожди...

– Куда мне, – соседка махнула рукой, – один грех теперь с этой мебелью. Вот кастрюльку малированную я бы взяла. Да ты окна заделала бы чем пришлось, может, и не отсыреет? Ты глянь, зайди, как мне-то зашили...

– Вы знаете, я тороплюсь, там Люся внизу...

– Обождет, что ей сделается! – Анна Федосеевна, отделаться от которой было не так-то просто, потащила Таню за рукав комбинезона. – У меня водки с полбутылки оставалось, никак еще с Мая, так я им отдала, а то за деньги ни в какую, и говорить не хотят...

В комнате было душно и совершенно темно; лишь несколько солнечных лучиков едва пробивались сквозь щели глухого дощатого щита, которым был заделан оконный проем. Анна Федосеевна принесла из кухни коптилку и при ее свете с гордостью заставила Таню осмотреть и потрогать мрачное сооружение.

– Прочно сделано, – одобрила та. – Но как вы будете его открывать?..

– Еще чего – открывать. И так проживем! Еще спасибо скажем, как дожди пойдут...

Осень-то уж на носу. а ты сядь, чего стоишь...

– Спасибо, я пойду сейчас.

– Людка-то дорого с тебя за квартиру спросила? Таня уставилась на нее непонимающе:

– Люся – за квартиру? Что вы, Анна Федосеевна, как вы могли подумать!

– Да чего тут думать-то – не спросила, так спросит, – тоном глубокой убежденности заметила Анна Федосеевна и тут же добавила, словно сообщая приятную новость: – А Васильевна наша, видать, пропала!

Таня промолчала, глядя на желтый трепещущий язычок пламени.

– Это, наверное, подло, – тихо сказала она потом, – но я так и не пошла туда... ну, вы знаете, при поликлинике... Туда многие ходят, для опознания...

– Это что, морг, что ли?

– В общем да, такое помещение вроде морга, их туда свозили. Прямо в подвале. Я... не смогла. А списки раненых мы с Люсей проверяли во всех больницах так и не нашли...

Разве теперь найдешь! Женщины вон рассказывали– вытащили с-под развалин одного, так его и не понять, где голова была, где ноги... всего как есть перекутило. Поди такого распознай, кто он такой да откуда родом. А одну вон – на Второй Кооперативной, возле булочной, – она побегла, значит, а бомба ее ка-ак шваркнет об стенку!.. Ну, поверишь, ничего не осталось. Только пятно кровавое. Что человек, что комар...

Таня почувствовала, что еще минута, и ей станет плохо – от духоты, от пещерного мерцания копилки, от этого разговора...

– Извините, мне пора, – пробормотала она, пробираясь в темноте к двери, – пожалуйста, если ко мне кто-нибудь зайдет... хотя я там написала, – Пушкинская, шестнадцать...

Громадная воронка, разворотившая бульвар перед зданием обкома, отрезала более короткий путь налево, через Осоавиахимовскую. Пройти налево еще можно, но тачка неминуемо застряла бы в отвалах вывороченной бомбой голубовато-серой глины. Приходилось делать большой крюк – через площадь Урицкого, потом по проспекту Фрунзе, мимо Парка культуры и отдыха.

– И может быть, все это зря, – сказала Таня, вместе с Люсей толкая перед собой тачку, расхлябанные колеса которой повизгивали и с хрустом крошили битое стекло на асфальте. – Возим-возим, а потом объявят эвакуацию и...

– Ну что ж, так есть хоть небольшой шанс кое-что сохранить. Мама сказала, что договорилась с одной институтской уборщицей... Если будем уезжать, она поселится у нас. Она все равно никуда не собирается.

– Но ты думаешь, эвакуации может и не быть? – помолчав, спросила Таня с надеждой.

– Что я могу думать? – Людмила дернула плечом и заправила под косынку выбившуюся прядь волос.

– А знаешь, Люся... если честно-честно – я и сама не знаю, чего хочу. Конечно, если эвакуации не будет, то это значит, что немцев остановили. Это я понимаю. Но мне иногда так хочется отсюда уехать... куда-нибудь на Волгу, «в глушь, в Саратов...» и как угодно работать, хоть дояркой, или полоть морковь, – только чтобы было совсем тихо, и чтобы ложиться спать, ни к чему не прислушиваясь... А здесь я сойду с ума, если еще один налет. Ты не хочешь все-таки зайти к этому Кривцову?

– Да, завтра непременно...

Они опять замолчали. Катить тачку было трудно, – то одно, то другое колесо ежеминутно наткалось на обломок кирпича или срубленную осколком ветку каштана, и тогда тачка судорожно дергалась то вправо, то влево. Битое стекло хрустело под ногами, горячий ветер, от которого першило в горле, нес с развалин гарь и известковую пыль, и еще какой-то странный, едкий химический запах. Добравшись до площади Урицкого, девушки совсем выбились из сил. В скверике они бросили наземь рукоять тачки и присели отдохнуть на лопнувший мешок с песком, – когда-то здесь стояли зенитки.

– ...Я вот так смотрю-смотрю, а потом вдруг ловлю себя на том, что просто не могу в это поверить, – заговорила Таня негромко, глядя через площадь на руины электромонтажного треста. Когда-то это здание, построенное в начале тридцатых годов одним из учеников Корбюзье, было достопримечательностью Энска. Сейчас правое его крыло рухнуло, от стеклянного фасада ничего не осталось, раздробленные перекрытия висели, изогнувшись, на остатках арматуры, подобные обнаженным геологическим пластам. В подвалах, очевидно, что-то продолжало гореть, – из-под бетонных торосов то тут, то там сочился дымок.

– Не можешь поверить? Во что?

– Ну... вот во все это. Такого не может быть, – с убеждением сказала Таня. – Не должно, понимаешь?

Людмила пожала плечами:

– Всегда это было, и есть, и...

– И всегда будет? Не верю я в это. Ни за что! Потому что какой тогда смысл имеет все остальное? Люди живут, что-то строят, что-то изобретают... Но ведь это – пойми, Люся, – это не имеет ни-ка-кого, самого малюсенького, смысла, пока кто-то за тысячу километров может в любую минуту все это уничтожить! Просто так, потому что ему захотелось. Я вот смотрю на «Электромонтаж» и думаю: ну как может одновременно быть в мире вот такое – и какие-то законы, какие-то правила поведения... Ведь если это действительно имеет право быть в мире, то тогда можно делать все – бегать на четвереньках, кусаться...

Немного отдохнув, они поднялись и снова взялись за тачку. Идти по проспекту Фрунзе было легче, – бомбы пощадили этот район. Только хлебозавод загорелся в первую же ночь, а тушить было нечем, пожарные магистрали оказались выведенными из строя, и завод полыхал трое суток. Сейчас от него остались черные развалины, от которых все еще несло жаром и удушливым чадом. Пройдя мимо них, девушки свернули к парку и наконец очутились в свежей тени акаций на Пушкинской.

– Здесь как будто и войны нет, – сказала Таня. – Чур, чур, не сглазить. Смотри – это не Аришка?

Действительно, навстречу им бежала Ира Лисиченко.

– Ой, девочки, живы! – закричала она, с разбегу обнимая Людмилу. – А я так боялась, так боялась – главное за тебя, Танька, мне сказали – у вас там в центре камня на камне не осталось...

– Камней сколько угодно, можешь пойти полюбоваться. Я вот, видишь, переселяюсь к Люсе.

– Что, совсем разбомбили? – Аришка сделала большие глаза.

– Не совсем, но жить нельзя. Окна вырвало вместе с этими – ну, как это, что в стену заделывается...

– У тебя дома все благополучно? – спросила Люда.

– Да, у нас ничего... стекла только повывлетали. Давайте я помогу, девочки... Таня, а ты что – все время дома была, в тот налет? Ой, я бы умерла... Очень страшно было?

– Сначала – да. А потом я просто ничего не помню. Аришка, что у других? Кого из наших ты еще видела?

– У других...

Ира Лисиченко вдруг остановилась и отпустила тачку.

– Ой, девочки, я и забыла... – произнесла она очень тихо. – У Глушко...

Таня и Людмила, тоже остановившись, смотрели на нее, боясь спросить.

– Что? – шепнула наконец Таня. – У них кто-нибудь...

– Все! – Ира закрыла лицо руками и заплакала. – Они все... были в доме, мне соседка рассказывала... это еще ночью, в самом начале... может, они просто не... не успели...

На следующий день с утра Людмила пошла разыскивать Кривцова, чтобы узнать у него насчет эвакуации. Таня осталась дома с мыслью заняться хозяйством, но очень скоро поняла, что ничего не сможет делать, пока не вернется Людмила. Машинально, кое-как, она убрала в комнатах, вымыла посуду, сходила к соседке за водой – у той был колодец, которым пользовался теперь весь квартал. Женщины у колодца рассказывали разное: одни говорили, что эвакуацию отменили, другие доказывали, что эвакуация уже идет полным ходом – только что нет официального приказа...

Потом она сидела в своем излюбленном закоулке сада, – когда-то здесь была беседка, но сейчас от нее остался лишь вкопанный в землю стол, с трех сторон окруженный старой и удобной скамьей. Все место было укрыто разросшейся сиренью, и здесь они с Людой обычно занимались перед экзаменами; сирень тогда цвела, и от этого запаха в голову иногда лезли мысли, не предусмотренные никакими учебными программами...

Таня сидела, считала выцветшие чернильные кляксы на растрескавшихся досках столешницы и пыталась отгадать, какой ответ принесет Люся. Она действительно не знала, чего ей сейчас хочется больше: эвакуироваться или остаться здесь.

Конечно, она может остаться в любом случае, что бы ни сказал этот Кривцов. Насильно ее никто не станет эвакуировать, кому она нужна. Другое дело, будь она доктором наук. А она просто девчонка, вчерашняя десятиклассница. Дядька на фронте, жених на фронте. Жених! – он мог бы быть ее мужем.

Если она теперь уедет, они с Сережей могут уже никогда не увидеться. На этот счет лучше не заблуждаться, во время войны так легко потерять друг друга. Его полевой почты она до сих пор не знает, а он не будет знать ее адреса.

Господи, что же делать. Ей вспомнился Валдай, – она однажды проводила там каникулы шесть лет назад, – тишина, рассветный пар над зеркальными водами, березы по косогорам. Главное – тишина, тишина... Россия, ее земля, ее родина... Неужели ей действительно придется остаться здесь, в капкане этих украинских степей, вытопанных, искромсанных бомбами, черных от горя и пожаров!

Она подняла голову, услышав, как скрипнула калитка.

– Люся? – крикнула она. – Я здесь, я в беседке! Видела Кривцова?

Людмила направилась к ней. Таня уже издали увидела, что ничего хорошего Кривцов не сказал.

Людмила присела к столу напротив Тани, видимо слишком расстроенная, чтобы говорить.

– Ты его не нашла? – спросила Таня неуверенно.

Этот мерзавец уже уехал, – почти спокойным голосом сказала Людмила. – Представляешь? Нет, ты могла представить себе что-нибудь подобное?.. Чтобы человек, которому поручили эвакуировать женщин и детей, преспокойно забрал себе единственную машину, нагрузил ее своими вещами – вплоть до мебели, слышишь? – и уехал, ни слова никому не сказав...

— Уехал, – повторила Таня изумленно. – Но как же, Люся... я не понимаю! Что же, он бросил тебя и... всех остальных? А сам уехал?

– Господи, Татьяна, можно подумать, что я говорю по-китайски! Да, именно так, бросил и уехал.

– Значит...

Таня замолчала, не докончив начатой фразы. Действительно, что – «значит»? Теперь все совершенно изменилось. Раньше были две возможности: либо эвакуация, и они с Люсей уезжают, либо немцев отбрасывают от Энска, и тогда все остается по-старому; но все получилось совсем иначе. Немцев, очевидно, не остановили, эвакуация продолжается, а им с Люсей уехать не удастся. О них просто некому позаботиться, их бросили на произвол судьбы. Все – Дядя-саша, Галина Николаевна. Таня похолодела, вдруг совершенно отчетливо представив себе весь смысл того, что случилось.

– Ну хорошо, – сказала она, стараясь не выдать голосом своего страха и растерянности. – Люсенька, мы ведь все-таки не бабки-пенсионерки, правда? Мы можем эвакуироваться и сами...

– На чем?

– Ну... на чем угодно!

– Пожалуйста, конкретней, – сухо сказала Людмила. – На персональной машине? Или на коньке-горбунке?

Таня вздохнула:

– Ну хотя бы, просто на какой-нибудь лошади... или попроситься на попутный грузовик...

– Сумасшедшая, – сказала Людмила. – Пойди посмотри, что там делается. Как это просто – попроситься на попутный... А лошади... Ты думаешь, они тут пасутся табунами! Где ты ее возьмешь, эту лошадь?

– Не знаю, – ответила Таня, подумав. – Но, в конце концов, люди уходят и пешком...

– Конечно. Ты представляешь себе, что это такое?

– А ты представляешь себе, что такое попасть к немцам?

– Как будто я тебя уговариваю к ним попадать! Они замолчали. Жаркая полуденная тишина стояла над садом, где-то за кустами сирени жужжал шмель, в соседнем дворе возбужденно кудахтали несушка.

– Сегодня двадцатое? – спросила Таня. – Странно подумать: в прошлом году в это время мы только собирались идти в десятый класс. Ты сейчас кажешься себе очень старой?

– Не знаю, я как-то не думала об этом. Я устала просто.

– Наверное, это и есть чувствовать себя старой. Я тоже очень устала, и не только от бомбежек. Я знаешь, что сегодня думала? Я должна была бы иметь от Сережи ребенка. Почему ты так смотришь? Это очень неприлично – подумать такую вещь? Наверное да, я понимаю.

– Честное слово, Люсенька, я никогда-никогда не думала ни о чем таком, когда Сережа был здесь. Это меня развратили на окопах.

– Ну что ты плетешь, Танька!

– Честное слово. То есть, я никого не обвиняю, и потом, может быть, это и не значит вовсе «развратить»... «Развратить» – это значит «сделать хуже», «испортить», верно? Но я не знаю, делаешься ли хуже оттого, что об этом думаешь. А думать я начала там – помнишь, когда мы ночевали в скирдах? Там рядом со мной спали две женщины, молодые, кажется с Оптического... Я раз проснулась ночью, а они не спят, разговаривают так потихоньку, но я все равно все слышала. Не думай, пожалуйста, что я подслушивала нарочно!

– Я этого не думаю, – тихо сказала Людмила.

– Просто я не спала и все слышала. Мне было очень неловко, правда. Но... говорили как раз об этом. И одна сказала: «Вот бабы всё мужиков ругают – обрюхатил, мол, уехал и...»

– Татьяна, что за выражения!

– Господи, я просто ее слова повторяю!

– Если ты начнешь повторять все слова, которые слышала на окопах...

– Да нет, и потом это серьезный вопрос, Люся. В общем, она сказала, что если бы ее – ну, если бы она ждала ребенка от своего мужа, – то ей было бы легче. Труднее, но легче. Понимаешь?

– В общем, да, – не особенно уверенно сказала Людмила, подумав. – Но в отношении Сережи... это совсем другое дело, Танюша...

– Почему? – с вызовом спросила Таня.

– Да прежде всего потому, что он тебе все-таки не муж!

– Н-ну да, конечно, – согласилась Таня нехотя и сразу перевела разговор на другое: – Так что же мы будем делать – в смысле эвакуации? Людмила помолчала.

– Я не знаю, кто из маминых сотрудников сейчас в городе, – сказала она в раздумье. – Нужно будет просто обойти всех, наверное... Ах, если бы телефон работал!

– «Если бы, если бы». – Таня нетерпеливо фыркнула. – Если бы за нами прислали Старику Хоттабыча с ковром-самолетом, это было бы еще лучше, но пока нет ни Хоттабыча, ни телефона. Поэтому собирайся и идем.

– Куда?

– Ты к своим физикам, может действительно что-нибудь и посоветуют, а я постараюсь найти кого-нибудь из Дядисашиных знакомых. А соседи наши, – они все разъехались куда-то, но я спрошу у дворничихи; Пилипенко, Голощаповы, потом капитанша Петлюк с пятого этажа – должны же они хоть что-то знать? Ну идем же скорее!

– Да погоди ты, – немного ошеломленно отозвалась Людмила, – я хоть отдохну полчаса. Такая жара в городе, с ума сойти... Пойдем лучше чуть попозже?

Таня собралась было возразить, что сейчас не время отсиживаться в холодке, но вдруг представила себе – выйти из этого мирного тенистого оазиса, снова оказаться на тех страшных улицах, среди раскаленных зноем развалин, пахнущих смертью и разрушением...

– Ладно, можно к вечеру, – согласилась она. – Нужно было бы заодно навестить кого-нибудь из наших – Лисиченко, Вернадскую...

– О, я забыла, – улыбнулась Люда. – Эту я только что встретила, она с брезгливым видом шла за водой. Говорит: «Когда кончится это безобразия?» Инка наша все-таки прелесть.

– Ломака она, по-моему, – заявила Таня.

– А по-моему – нет, это у нее само собой так получается. Ты думаешь, она напускает на себя? Мне кажется, нет.

– Может, и не напускает, – согласилась Таня. – Тогда тем хуже для нее. Принцесса на горошине!

– Танька, а мы ведь все, в сущности, такие же принцессы. Ты, я – чем мы лучше?

– Ну, все-таки!

– Не знаю, я вот посмотрела на других девушек на окопах...

– И что?

– А то, что мы с тобой сидели до войны как в коробочке с ватой. Ты хоть раз в очереди стояла? Ну вот. И никто из нас не стоял – ни я, ни Инна Вернадская, ни сын Эрлиха...

– Ну правильно, не стояли, а вот теперь мне приходится ходить за водой, и я это делаю без всякого брезгливого вида и не изображаю из себя никакую принцессу!

– Никто сознательно не изображает, я не говорю, что Инна делает это нарочно. Слушай, а ведь орехи, наверное, уже давно можно есть?

Они отправились к орешнику. Таня достала с крыши сарая специально приспособленную для этих дел жердь с крючком на конце. Потом молча, словно священнодействуя, они сидели на траве возле лежащего здесь обломка каменной плиты и по очереди увлеченно кололи орехи большим плоским гольшом.

– Руки у нас будут как у негритосок, – заметила наконец Людмила, очищая орех от терпко пахнущей зеленой оболочки поверх скорлупы.

Таня, с набитым ртом, молча кивнула. Людмила положила очищенный орех на плиту и легонько пристукнула гольшом, – свежая скорлупа треснула почти беззвучно.

– В прошлом году я приблизительно в это время вернулась из Ленинграда, – вздохнула Людмила, выбирая кусочки ядра из разбитого ореха. – Только двенадцать месяцев, с ума сойти. Можно подумать, что прошло двенадцать лет. А ты в это время была еще в Сочи...

– Ох, замолчи, – быстро сказала Таня. – Пожалуйста, молчи лучше, а то я сейчас буду реветь.

Она в самом деле заморгала глазами.

– Чего ж реветь, – сказала Людмила, – как будто от этого легче...

Она выбросила скорлупу и взялась за новый орех, но вдруг выпрямилась, прислушалась.

– Машины, – сказала она. – Кажется, по нашей улице...

Таня всхлипнула и с ожесточением ударила по своему ореху. Потом тоже подняла голову.

– И много, – сказала она. – Это целая колонна. Ой, вот сейчас их и спросим!

Она вскочила и побежала за дом. Когда Людмила тоже вышла к калитке, колонна уже шла мимо, – громыхающие трехтонки и полутонки, побитые, ободранные, с раскрытыми капотами. Бойцы тряслись в кузовах в обнимку со своими винтовками, примостившись на ящиках и брезентах таинственной воинской поклажи. Таня провожала взглядом машину за машиной, прикусив губы.

Колонна прошла не задержавшись. Девушки постояли еще у калитки, наблюдая, как в пробивающихся сквозь акацию отвесных лучах солнца тает и рассывается чадный синеватый дымок. «А на Краснознаменной что делается! – вздохнула тоже вышедшая на улицу соседка. – Всю ночь ехали и ехали... и машинами, и повозками, кто чем, и пешком идут. Кажут, все с-под Белой Церкви...»

Из-за угла показалась еще одна машина; поравнявшись с ними, притормозила, и водитель высунул из кабины черное от пыли и копоти лицо.

– На Днепропетровск мы тут выедем? – крикнул он.

Соседка, Людмила и Таня закричали все вместе, перебивая друг друга. Водитель рывком остановил машину и выскочил, разминая ноги. Вышел с другой стороны и сидевший рядом лейтенант, такой же грязный и пыльный.

– Водички у вас не найдется? – спросил он у Тани, пока Людмила с соседкой наперебой объясняли водителю, как выехать на Днепропетровское шоссе, минуя забитую движением Краснознаменную улицу.

Таня вынесла ведро, кружку. С кузова, загруженного какими-то бочками, попрыгали еще пятеро; столпившись вокруг нее, они выпили полведра, а оставшуюся половину водитель вылил в урчащий и клокочущий радиатор. Пятеро бойцов снова полезли в кузов.

– Оставили вас без воды, – улыбнулся лейтенант, показав неожиданно белые, как у негра, зубы. – Вы уж извините, такое дело.

– Ну что вы, – сказала Таня. – Если вам еще нужно, я принесу – тут рядом колодец, через три дома!

– Спасибо, – сказал лейтенант, – не надо больше. За сколько же это дней вас так раздолбали?

– За один. А перед этим был еще один налет, ночью.

– Во как. Мощно, значит, всыпали. Ну что, Петренко, надолго там у тебя?

– Сейчас едем, товарищ старший лейтенант, – отозвался забравшийся под капот Петренко.

– Вы можете сказать нам одну вещь? – спросила Таня, строго глядя лейтенанту прямо в глаза. – Только совершенно честно... Где сейчас немцы?

– Ну, знаете, – сказал лейтенант, – где немцы сейчас – это, девушка, и самому Совинформбюро неизвестно. А вчера они были тут где-то, километрах в сорока, – Калиновское, что ли, есть такой населенный пункт?

– Калиновка? – ошеломленно поправила его Таня. – Да нет, не может быть...

– Во, она самая... Готово, Петренко? Давай заводи! Ну, девушки, счастливо. За Днепром встретимся!..

Лейтенант побежал к машине, придерживая полевую сумку.

– Люся, ты слышала? – сказала Таня. – Он говорит, немцы уже в Калиновке. Ты как хочешь, а я сейчас же иду в город. И потом, мне пришла в голову самая простая вещь – обратиться в горвоенкомат, ведь это, кажется, входит в их прямые обязанности...

Уточнить, что входит и что не входит в прямые обязанности городского военного комиссариата, Тане так и не удалось. Прежде всего, разыскать это учреждение оказалось не просто, так как после бомбежки оно перебралось на окраину, и никто не знал, куда именно. Уже часов около четырех, безрезультатно исходив половину города, Таня обнаружила наконец пропав-

ший военкомат на одной из по-деревенски широких и пыльных окраинных улиц. Но сотрудником его – она это сразу увидела – было уже не до выяснения своих обязанностей.

Во дворе с распахнутыми настежь воротами красноармеец ворошил палкой груды горячей бумаги, другие носили из дверей ящики и пишущие машинки к стоявшему тут же грузовику. На Таню никто не обратил никакого внимания. Она потолкалась по двору, нерешительно поднялась на крыльцо. В коридоре, где сквозняк из распахнутых дверей гонял по полу какие-то бланки и формуляры, висела богато оформленная – в бордовом плюше и золоченых фанерных капителях – стенгазета «За передовую агротехнику»; в комнате напротив две женщины в гражданском швыряли в ящик перевязанные шпагатом пачки бумаг.

Таня спросила военкома; ей ответили, что военкома нет. Поколебавшись, она спросила, кто замещает военкома; на это ей вообще ничего не ответили. Таня вдруг обозлилась, громко обозвала этих двух тыловыми крысами и стала ходить из комнаты в комнату, пока не нашла человека в форме, с майорскими шпалами на петлицах. Майор сидел на корточках перед раскрытым сейфом, торопливо просматривая груды вываленных прямо на пол папок.

– Товарищ майор, ну что это за безобразие! – закричала Таня.

Майор оглянулся и, поморщившись, встал. Таня начала говорить торопливо и сбивчиво; он слушал молча, свертывая самокрутку из газетной бумаги, потом закурил.

– Не понимаю, где вы были раньше, – сказал он раздраженно. – Где вы болтались все это время? Две недели назад мы провели учет через гарнизонную КЭЧ, и...

– А я вернулась с окопов накануне бомбежки! – перебила его Таня, уже чуть не плача. – Может, мне нужно было удрать оттуда раньше, чтобы обо мне вспомнили в гарнизонной КЭЧ?

– Ну хорошо, хорошо, – снова поморщился майор. – Кто у вас на фронте, вы говорите?

– Мой дядя, полковник Николаев...

– Николаев? – Майор подумал, посасывая самокрутку. – А по имени-отчеству?

– Господи, Николаев Александр Семенович, он здесь командовал бронетанковой бригадой!

– Минутку. – Майор окликнул заглянувшего в дверь человека и распорядился выносить и укладывать папки, потом снова обернулся к Тане, глядя на нее в раздумье. – Паспорт с вами?

– Со мной, – кивнула Таня торопливо, начиная на что-то надеяться. – Показать?

– Потом... Идемте-ка!

Они вышли в коридор. Майор велел Тане ждать здесь и никуда не уходить; минут через десять он вернулся, взял у нее паспорт и стал его изучать.

– Ну что мне с вами делать, – задумчиво сказал он. – Тут сейчас уходит наша машина с семьями сотрудников... Вы где проживаете?

– На Пушкинской, – это недалеко от парка...

– Вот что, Николаева, – сказал майор, возвращая ей паспорт. – Шпарьте-ка сейчас домой, соберите вещички – и обратно, только бегом! Машину я ради вас задерживать не стану, учтите. За час успеете?

– Д-да, наверное, – ответила Таня, с ужасом вдруг сообразив, что Людмилы может не оказаться дома. И нужно ли предупредить майора о том, что их двое? Так он может сказать, что на машине есть только одно место; но если они прибегут с Люсей, не оставит же он ее на улице... – Успею, конечно!

– Тогда давайте. Сейчас половина пятого? Часов в шесть, самое позднее в четверть седьмого, машина уйдет...

Людмилы, конечно, дома не оказалось. Убедившись в этом, Таня обессиленно прислонилась к стене, уронив руки. Сердце ее колотилось так, что даже трудно было дышать. Последние несколько кварталов она бежала не останавливаясь.

Очень хотелось пить. А воды не было, воду выпили тот лейтенант и его бойцы. Нужно снова идти к колодцу. Надо было попроситься на машину к лейтенанту, вот что надо было

сделать. Он, конечно, был уверен, что у них есть на чем эвакуироваться. «За Днепром встретимся!» Иначе предложил бы сам. «Встретимся за Днепром!» Они все будут за Днепром – и этот лейтенант со своими бойцами, и майор с военкоматовцами, и Сережа, и Дядяша...

Часики на ее руке показывали десять минут шестого. Оставался час – собрать вещи, добежать через весь город до улицы Парижской Коммуны, уговорить майора насчет Люси. Лишь бы она не задержалась...

Она вытряхнула какую-то мелочь из своего рюкзака. Что брать с собой? Две-три пары белья... хотя белья можно больше, оно ничего не весит и почти не занимает места... лыжный костюм, пальто, одно-два платья... Теплые вещи? Через месяц-другой начнет холодать, хороша она будет во всем летнем, но как их унесешь – фуфайку, кожаную теплую куртку, на это все понадобится два чемодана, не меньше...

Лихорадочно роясь в еще не разобранных после переселения узлах и чемоданах, Таня нашвыряла на постель целую кучу отобранного – самого необходимого; потом посмотрела и ахнула. И думать нечего унести все это на себе!

В соседней комнате часы пробили половину. Пять тридцать, Люси все нет, машина уйдет самое позднее через сорок пять минут. Таня громко всхлипнула и в отчаянье прикусила сжатый кулак. Если бы только знать хоть один из адресов, куда могла пойти Люся! В книжке на письменном столе Галины Николаевны были только номера телефонов. Таня снова и снова снимала трубку, замирая от испуганной надежды, что вдруг случится чудо и телефон заработает (могли же его отремонтировать за эту неделю). Но чуда не было, трубка мертво молчала.

Она вдруг вспомнила, что нужно еще приготовить Люсины вещи. А где ее рюкзак? Ах, неважно, рюкзак потом, сначала нужно отобрать... Если Люся придет в течение этих пятнадцати минут, еще можно успеть... Господи, я никогда не молилась, но пусть Люся придет через пять минут, ну хоть через десять!

Она пошвыряла вещи на кровать, потом нашла в передней рюкзак – старинное, замысловатое и добротное изделие, по преданию купленное Земцевым-дедом в его студенческие годы чуть ли не в Швейцарии. Она двигалась теперь как-то машинально, доставала с полок стопки белья, снимала с вешалок платья, переходила от гардероба к кровати, – и в голове ее было совсем пусто, только кружилась и кружилась огромная секундная стрелка, ставшая теперь самым важным в мире. Когда чего-то приходится дожидаться – время тянется невыносимо медленно; но как неудержимо оно летит, когда опаздываешь!

Оба рюкзака были почти уложены. Нужно было сделать еще что-то очень важное, но она никак не могла вспомнить, что именно. Голова ее кружилась, очень сухо было во рту. Уже целый час, как ей хочется пить, – и все некогда напиться.

Впрочем, теперь уже почти все сделано. Можно сидеть и ждать. Чего?

Она сделала над собой усилие, посмотрела на часы и медленно опустила на пол незастегнутый рюкзак. Постояв минуту, вышла из комнаты, зачем-то пощелкала бездействующим выключателем в коридоре, потом прошла на кухню и взяла с примуса чайник; он оказался почти полон. Стоя у окна, она пила прямо из носика пресную кипяченую воду, совершенно спокойно и без единой мысли в голове. О верхнее стекло билась и жужжала муха, косые лучи забагряневшего к закату солнца пронизывали листву старого орешника.

Она вернулась в комнаты, походила взад и вперед, бесцельно трогая и перекладывая вещи, потом легла. «Встретимся за Днепром, встретимся за Днепром», – стучало у нее в голове. Удивительно, как все заботились о ней до войны. Если она не приходила в школу, то в тот же день классная руководительница непременно присылала кого-нибудь из девочек узнать, что случилось. Преподаватели беспокоились о том, чтобы она не росла неучем. Люди в белых халатах, которых она никогда не запоминала по имени-отчеству, откуда-то со стороны неотрывно и надоедливо следили за ее физическим развитием, время от времени напоминая о себе то очередной прививкой, то вызовом в зубоврачебный профилакторий. Другие следили за тем,

чтобы ей всегда было что почитать, или что послушать, или что посмотреть; а когда подходили каникулы, то оказывалось, что кто-то – пока она была занята экзаменами – уже позаботился о ее летнем отдыхе.

«Счастливо, девушки, встретимся за Днестром!» Он был так уверен, этот лейтенант, что девушки туда попадут... Еще бы, – кто мог подумать, что их здесь просто бросят! Неожиданно и внезапно рухнул и рассыпался прахом весь привычный, еще вчера казавшийся незыблемым и неизменным уклад жизни, со сложным комплексом прав и обязанностей, с выверенной системой взаимоотношений, – все разваливалось и таяло вокруг них, превращаясь в ничто.

Нахлынувшие сумерки быстро затопили комнату; было уже около восьми. Таня лежала неподвижно, глядя в потолок сухими глазами. На улице снова ревели машины, наверное какие-то очень тяжелые, потому что пол в комнате ощутимо подрагивал, а оконные стекла отзывались тонким дребезжащим звоном. Машины шли к Днепропетровскому шоссе – на восток, за Днепр.

В половине девятого пришла Люда – окликнула в темноте Таню, спросила о новостях и сказала, что ей самой ничего утешительного узнать не удалось.

– Ты что, заболела? – спросила она, опуская на окне маскировку.

– Да нет, устала просто, – отозвалась Таня.

Люда зажгла керосиновую лампу и заслонила ее книгой, чтобы свет не падал Тане в лицо.

– ...Абсолютно никто ничего не знает, – говорила она, расстегивая платье. – Борзенко и Эрлихи уже уехали, с кем – неизвестно, у Евгении Александровны болен отец... конечно, немисливо его везти в таких условиях... А эти Высоцкие вообще сидят и в ус не дуют, будто их и не касается. Да, ты знаешь, что он мне заявил? «Не волнуйтесь, – говорит, – Людочка, жили при Сталине – проживем и при Гитлере...» Я просто онемела, честное слово, ну что на это скажешь! А как у тебя в военкомате?

– Никак. Они все уже уехали.

– Поразительно. Не понимаю, почему в таком случае не объявить эвакуацию открыто и во всеуслышание... Танюша, а почему вещи – ты что, укладывалась?

– Да... – отозвалась Таня не сразу. – На всякий случай... Я думала, ты найдешь какую-нибудь возможность...

Глава 4

Николаев поднялся из-за стола и, подойдя к открытому окошку, высунулся наружу. Теплый грибной дождь бесшумно падал с низкого серенького неба. Сразу за оградой ветхого лесопильного заводика, где расположился штаб бригады, начиналась опушка. Кое-где зелень была уже чуть тронута желтизной приближающейся осени.

– Ты вот говоришь – как будем наступать, – сказал Николаев, вернувшись к столу и останавливаясь перед своим начштаба. – Наступать, Дмитрий Иванович, мы будем плохо. Смотри-ка сюда! Вот здесь, в излучине, атакует шестнадцатая стрелковая; переправляется через Стручь, захватывает плацдарм и развивает наступление на Дрябкино – Лягушово. Мы в это время наносим удар с юга, через этот проклятый лесисто-болотистый треугольник, выходим на немецкие тылы, западнее Лягушова, и – теоретически – встречаемся здесь с танками Вергуна, которые пойдут с севера. Подчеркиваю: теоретически! Потому что на практике все это получится совсем иначе. Во-первых, на такой местности танки теряют главное свое преимущество – быстроту удара, маневр. Во-вторых, здесь у немцев слишком крупные силы. Мы достоверно знаем о двух дивизиях, но их может оказаться больше. И в-третьих, если не врут твои разведчики, немцы вами готовят наступление. Вероятнее всего, они собираются ударить в этом же самом месте – прямо по фронту шестнадцатой. Что в этом случае подсказывает элементарный здравый смысл? О тактической грамотности я уже не говорю. Но по здравому смыслу? Шестнадцатая отходит, закрепляется на этом приблизительно рубеже; мы скрытно развертываемся здесь; здесь – полк Вергуна. Пусть первыми идут через Стручь немцы – черт с ними, предоставим им это удовольствие. Они переправляются, увязают в эшелонированной обороне пехоты, – и вот тут только и действовать нам с Вергуном! Правый берег – высокий, незаболоченный, машины пойдут как на танкодроме... А здесь?

Полковник бросил карандаш и забарабанил по карте пальцами.

– Высшие соображения, видите ли! – воскликнул он после паузы, сделав замысловатый жест. – Воспитание наступательного духа в войсках! Видите ли – «ни шагу назад»!

Начштаба, человек кабинетный и осторожный, покашлял и снова принялся протирать очки.

– Иногда жертвы бывают именно воспитательными, – сказал он. – В принципе, разумеется... Я не имею в виду данный случай.

– В принципе! В принципе жертвы прежде всего не должны быть бессмысленными! Как будет наступать на Лягушово Вергун со своими двадцатьшестерками? А? Мы – ладно; у нас есть тридцатьчетверки, есть даже два КВ; но двадцатьшестерки Вергуна?

Николаев отодвинулся на конец скамьи и привалился плечом к бревенчатой стене, задумчиво шурясь и жуя мундштук погасшей папиросы. Он думал о том, что пройдут годы и это время будет названо великой и героической эпохой, и названо по справедливости, потому что никогда еще страна не проявляла такого героизма и такого великого самопожертвования. Но он думал и о том, что говорить о войне как о «героическом времени» значит говорить о ней только половину правды, а вторая половина – это и трусость, и предательство, и спекуляция на самом святом, и подленький этот аргументик «война все спишет», и бесчеловечность... При чем не бесчеловечность врага, от которого нельзя ждать ничего иного, а та невольная бесчеловечность, которая в большей или меньшей степени неизбежно становится частью профессиональной психологии каждого военного-кадровика, каждого командира. Нельзя командовать, если ты не в состоянии без душевной травмы послать на смерть другого человека...

Полковник дернул щекой и бросил окурочек в отпиленное доньшко снарядной гильзы.

– Ладно, – сказал он с кривой усмешкой, – гадать уже поздно. Мы люди военные, и приказ есть приказ. Получил – выполни, думать будешь после. Если останется чем. Выполнить – это

проще всего! – крикнул он бешено. – Задача нам поставлена такая, что и сам архистратиг Михаил не выполнит, а приказ – пожалуйста! Приказ будет выполнен! Вот о чем никогда не напишет ни один военный историк, мат-ть их всех до десятого колена...

Начштаба изумленно уставился на него поверх очков, – за несколько лет службы с Николаевым он ни разу не слышал, чтобы тот выругался.

– Прошу прощения, – буркнул полковник и потянулся за новой папиросой.

Оба помолчали, потом начштаба вздохнул и покачал головой.

– Я, Саша, тебя не узнаю, – сказал он негромко. – Война есть война, тут случается по-разному... Бывают задачи относительно легкие, бывают сложные и трудные, чего ж заранее-то себя отпевать...

– Себя? О себе думать привычки не имею, не обучен! Я думаю о бригаде, которой имею честь командовать и за которую отвечаю перед собственной совестью! О том, как бывает на войне, я тоже имею некоторое понятие, – это, Дмитрий Иванович, четвертая моя война, не считая японцев... Но меня учили воевать грамотно! Меня учили, что нельзя планировать боевую операцию, принимая желаемое за действительность и основываясь на высосанных из пальца данных о противнике! Для меня всегда было аксиомой, что командир, который может позволить себе пожертвовать на авось жизнью хотя бы одного бойца, – такой командир не имеет права находиться в рядах армии; а теперь я должен вести в бой целую бригаду, заранее зная, что ее гибель будет аб-со-лютно бессмысленной!

– А что делать? – спросил начштаба. – Мы наши соображения высказали. В конце концов, Военный совет может иметь свои, не менее веские...

– Знаешь что, Дмитрий Иванович! – Полковник вскочил с места. – Я, черт возьми, не мальчишка! Если бы мне сказали: «Двести одиннадцатой бригадой решено пожертвовать для выполнения отвлекающего маневра» – я бы и словом не возразил. Когда нужно – нужно! Знаю, что война – это не игра в бирюльки. Но мне сказали другое! Вспомни – разговор был при тебе: «Ты мне тут, полковник, пораженческих настроений не разводи, у тебя психология путаной вороны...» А, к ч-черту все!

Он подошел к двери, распахнул ее и кликнул адъютанта. Тот появился незамедлительно, подтянутый и такой выбритый, что уже при одном взгляде на него угадывался запах тройного одеколona.

– Комиссар не возвращался? – спросил Николаев.

– Только что приехал, товарищ полковник, собирался идти к вам.

– Ага! Отлично. Вот что, Егорычев...

– Слушаю, товарищ полковник!

– Вот что... – Николаев уставил палец почти в живот адъютанта. – Возьмите-ка вы и свяжитесь с РТО². Первое – узнайте, там ли капитан Гришин; если он там – попросите его задержаться, я сейчас подъеду. Второе – спросите, проверено ли наличие запчастей по тому списку, что мы с ним смастерили сегодня утром. А на девятнадцать ноль-ноль пригласите ко мне командиров батальонов.

– Есть, товарищ полковник!

Расстегивая на ходу мокрый реглан, вошел полковой комиссар Рокшин. Николаев отпустил адъютанта и, закуривая, пожал руку вошедшему.

– Угощайтесь, – сказал он, передавая ему коробку. – От щедрот товарища члена Военного совета армии. Как съездили?

– Ничего съездил, да вот машину запорол, – огорченно сказал Рокшин. – Только отъехал от дивизии – полетел кардан. Хорошо, попутная шла. Да, там один боец вас хочет видеть... говорит, по личному делу.

² РТО – рота технического обслуживания

– Меня... по личному? – Николаев поднял левую бровь. – Нашел время для личных дел! Федор Григорьевич – вы тут сейчас побеседуйте с майором, у него интересные сведения от начальника разведки, а я пока съезжу в РТО. Кстати, попрошу поискать для вас эти крестовины, Гришин – мужик запасливый...

– Вернетесь скоро?

– Часа через два, не позже. Комбатов я вызвал на девятнадцать ноль-ноль. А вечером, если не возражаете, побываем вместе в подразделениях.

– Договорились, товарищ полковник.

– Отлично. Дмитрий Иваныч, так ты обсуди это дельце с полковым комиссаром, считаю, что над ним стоит поломать голову. – Николаев надел плащ, снял с гвоздя фуражку. – Да, этот боец! Кто это?

– Какой-то парнишка из шестнадцатой дивизии – их машина меня и подбросила...

– Ничего не понимаю. Где он?

– Сидит там, я обещал вам передать.

– А-а...

Полковник вышел, сильно хлопнув дверью.

– Капитан Гришин вас ждет, товарищ полковник! – отчеканил адъютант, вскакивая с телефонной трубкой в руке.

– Спасибо. И послушайте, Егорычев... держите себя проще, черт возьми, никак вы не попадете в правильную точку. Вначале, приехав в бригаду, вы вообще считали, что на фронте можно не бриться по трое суток. Теперь вы махнули в другую крайность... так сказать, из нижней МТ в верхнюю. Сократите амплитуду своих шараханий и ведите себя просто, привыкайте к войне. Она, Егорычев, закручена всерьез и надолго, поэтому пора начинать осваиваться. Нотации вас не обижают?

– Да что вы, товарищ полковник...

– Тем лучше. Вы должны признать, что я ими не злоупотребляю.

Полковник пошел к двери, натягивая перчатки. Уже у порога он обернулся:

– Я забыл взять газеты у полкового комиссара – спрячьте одну для меня, иначе все растащат. Кстати, что там в сводке, вы не слушали?

– Ничего существенного, товарищ полковник. Наши войска оставили Энск, в ходе боев противник...

– Энск? – переспросил Николаев, не выпуская ручку двери. – Вы уверены, что именно Энск?

– Разумеется, товарищ полковник, сейчас я вам найду...

– Не нужно, Егорычев.

Держась очень прямо и ничего не видя, полковник прошел через комнату, где работали связисты. Сердце – это новость. И не из приятных, надо сказать. Большой глупости не придумаешь: умереть на фронте от инфаркта. А впрочем, это ему не грозит... На фронте не умирают ни от инфарктов... ни от дурных известий. Дурное известие, дурное известие... Какое деликатное определение! Татьяна у немцев? Чудовищно. Слишком чудовищно, чтобы можно было допустить такую возможность. Даже в его возрасте и с его уменьем обходиться без розовых очков... Бред, бред! Как она могла остаться, ведь должна была проводиться эвакуация... Да, если только не было охватного прорыва. Если, если...

То, что именно, в этот момент, занятый мыслями о племяннице, он увидел перед собою ее жениха, было совпадением настолько странным, что в первую долю секунды Николаев даже не поверил своим глазам. Но сомневаться не приходилось, – этот тощий боец в мокрой на плечах гимнастерке и был тем самым Сергеем Дежневым, которого он год назад отчитывал за слишком позднее возвращение Татьяны домой...

– Не узнаёте, товарищ полковник? – первым спросил Сергей очень неуставным тоном, стоя, однако, навтыяжку.

– Ну как же, брат! – Николаев шагнул с крыльца и тоже не по-уставному обнял бойца. – Узнать-то я узнал, но признаться – несколько удивился... Мне комиссар говорит – хочет вас видеть боец из соседней дивизии, но кто мог предполагать!

– Да, мы вроде соседями оказались... Александр Семенович, – вы извините, у меня времени всего пять минут – там машина наша ждет, бревна отсюда возим. – Александр Семенович, Таня вам пишет?

– Татьяна? М-да, конечно пишет. А что?

Идиотский вопрос – это «а что?»; но сейчас надо было выиграть время, что-то придумать, потому что он уже чувствовал, что нельзя сказать правду этому мальчику, смотрящему на него такими глазами...

– Да ну как же, Александр Семенович, ведь я же ни одного письма – ни одного за все время, вы понимаете! – я уж думал...

– Ну, брат, тут у вас сам черт ногу сломит, – весело прервал его полковник, – мне она жалуется, что не получает ничего от тебя, так что вы уж в этом разберитесь как-нибудь сами...

– Когда было последнее письмо?

– Ну, когда... дай бог памяти... с неделю назад, если не ошибаюсь...

– Александр Семенович, вы знаете, что Энск оставлен?

– Да, брат, еще один город отдали. Кстати, если ты беспокоишься насчет Татьяны, то с ней все в порядке. Последнее письмо было уже с пути, их эвакуировали, так что...

– Дежне-ов, ты шо там?.. – закричал кто-то из-за штабелей бревен, окончив призыв красочно и витиевато.

– Ишь какие у вас мастера художественного слова, – усмехнулся полковник, чувствуя невольное облегчение от мысли, что Сергей сейчас уйдет. – Что ж, брат, беги, война ждать не любит...

– Иду, товарищ полковник. А адреса Таниного у вас нет?

– Вот с этим придется обождать, – какой же адрес, если человек еще в пути!

– Ну да, верно... Но вам Таня напишет сразу, – так вы, пожалуйста, сообщите, что видели меня и что я спрашивал, почему нет писем, ну и...

– Разумеется, сообщу. – Полковник обнял его на прощанье, с мгновенным непривычным чувством какой-то отцовской жалости ощутив под мокрой гимнастеркой острые мальчишеские лопатки. – Я подробно напишу Татьяне обо всем, как только узнаю адрес. И она сразу тебе ответит. Воюй спокойно, Сергей...

Он проводил его взглядом, потом тяжело поднялся на крыльцо и вернулся к адъютанту.

– Егорычев, – сказал он, – вот что вам нужно будет сделать... – Он сунул руку в карман и вспомнил, что оставил папиросы у Ропшина. – Табаком вы не богаты? А-а, благодарю вас... Так вот, – я не знаю, где это можно узнать, но вы посоветуйтесь, может быть в политотделе, – наведите справки, в какие приблизительно районы было направлено гражданское население, эвакуированное из Энска. Ежели таковая эвакуация вообще была осуществлена. Вы поняли?

– Конечно, товарищ полковник, – сочувственно и понимающе сказал адъютант. – У вас кто-нибудь из...

– Далее. В Энске был научно-исследовательский институт токов высокой частоты. Нынешняя его дислокация, очевидно, засекречена, они там работали над некоторыми закрытыми темами, но, может быть, вам удастся что-нибудь узнать. Меня интересует местопребывание одной из его сотрудниц, – запишите, Егорычев: доктор Земцева, Галина Николаевна... Записали? Свяжитесь с политотделом штабарма, там обычно толкутся эти газетчики, может быть, через них что-нибудь удастся выяснить. Займитесь этим не откладывая, Егорычев, как только покончите с делами...

Через два дня, на рассвете, рядовой Дежнев лежал в холодной болотной жиже на левом берегу Стручи, где только что закрепился первый батальон. Большинство в роте Сергея было из такого же необстрелянного пополнения, присланного в дивизию на прошлой неделе. В сущности, необстрелянными их назвать было нельзя, потому что стрелять-то по ним уже стреляли, и довольно много; но им самим стрелять по-настоящему еще не приходилось. Не успев доехать до фронта, Сергей уже побывал под дужиной бомбежек и обстрелов, иногда тяжелых, иногда пустяшных, когда все обходилось «легким испугом». Сегодня был первый их бой; для многих он стал последним.

Сергей часто пытался представить себе, каким он будет – этот первый бой, как все это будет выглядеть и что будет испытывать он сам. Больше всего он боялся оказаться трусом; в смерть как-то не верилось, хотя столько чужих смертей прошло уже перед его глазами за этот месяц, а думать о каком-нибудь особенно тяжелом и мучительном ранении он избегал. Что толку бояться этого заранее, – случится так случится, ничего не поделаешь. Поэтому главной опасностью первого боя в его представлении оставалась не пуля, не забуренный кусок раскаленного крупновского железа; главной опасностью была его собственная нервная система, его психика, которая не сегодня завтра подвергнется внезапному и разрушительному испытанию на прочность...

А когда это испытание началось, он так ничего и не почувствовал. Может быть потому, что не было времени приглядываться и прислушиваться к переживаниям, гадать – начинаешь ли уже трусить или еще держишься. С самого начала стало как-то не до этого; сразу навалилась целая куча других забот. Переправа началась еще затемно, а пока первые роты плыли через Стручь, ему пришлось вместе с артиллеристами бегом таскать к берегу тяжелые плоские ящики со снарядами для противотанковых сорокапятков, а потом грузить на плоты и сами пушки. С виду такие маленькие и легкие, почти игрушечные, они оказались неожиданно тяжелыми и неповоротливыми, и за работой не думалось об опасности, хотя малиновые немецкие трассы уже полосовали дымный предрассветный туман над Стручью и высоко в небе, озаряя берега колеблющимся химическим светом, висели ракеты. Обо всем этом как-то не думалось, оно не замечалось или замечалось лишь какой-то частью сознания, не главной его частью, а главное – это были пушки, такие маленькие и такие чертовски тяжелые сорокапятимиллиметровые ПТО – облепленная грязью скользкая резина колес, холодный металл станин, шершавые скобы, до крови срывающие свежие мозоли на ладонях...

А потом надо было грести, грести до темноты в глазах, до удушья, скорее и скорее, среди тусклых вспышек и лохматых грохочущих водяных столбов, когда из одного вдруг вываливались, медленно переворачиваясь в воздухе, распяленные великаньей пятерней бревна соседнего плота, и в следующую секунду это могло произойти с твоим, – но что толку было об этом думать, сейчас было важно только одно: поскорее догрести до берега, почувствовать под ногами землю – вот эту самую, хлюпающую болотной жижей, пахнущую хвощами, раздавленной осокой, гарью и ядовитым дымом тротила, – первую пядь земли, отнятую назад у врага...

Это ощущение было сейчас главным: он был на земле, отбитой у немцев! Он не представлял себе масштабов операции, – никто не говорил с ними на эту тему, а у него самого не было еще того фронтового опыта, который обычно позволяет бывалому бойцу почти безошибочно определить эти масштабы по тому, как эта операция готовится. В глазах Сергея его первый бой мог быть и местным контрударом, предпринятым с целью задержать немцев и обеспечить отход правого или левого соседа; мог он быть и началом большого контрнаступления.

Сам Сергей иступленно верил в последнее. Может быть, именно эта вера помогла ему забыть о страхе и там, на плоту, и позже, когда он шел к берегу, выдирая сапоги из чавкающего ила, а малиновые трассы секли камыш и его товарищи роняли винтовки и падали лицом в болото...

Снаряды дивизионной артиллерии рвались теперь дальше, по дороге на Лягушово, за редкой порослью ольхи и осины. По карте – там была Белоруссия; но для него сейчас там, впереди, лежал Энк. Занятый немцами Энк, в котором осталась Таня. Он почему-то сразу не поверил полковнику, когда тот сказал ему о письме. Может быть потому, что Николаев замешкался на долю секунды, прежде чем ответить. А может быть, и не было никаких разумных оснований не поверить рассказу о Таниных письмах, кроме того странного чувства, которое иногда оповещает человека о беде, случившейся с близким. Так или иначе, он был совершенно уверен в том, что Таня находится у немцев. Там, впереди, за болотом, за редким сквозным ольшаником, за черными всплесками разрывов. А вдруг это действительно начало нашего наступления, вдруг именно здесь произойдет перелом, и война покатится обратно – на запад...

К девяти утра они продвинулись почти на четыре километра, не встретив серьезного сопротивления. Немецкие позиции не были здесь укреплены, немцы вообще не собирались переходить к обороне, и наступление было прервано ими лишь для того, чтобы подтянуть тылы и перегруппироваться перед броском через Стручь. Посты передового охранения, вначале пытавшиеся отбросить русских пулеметным огнем, отошли после того, как тем удалось зацепиться за левый берег; две батареи, обстреливавшие переправу, были довольно скоро накрыты русскими артиллеристами. Пехотные батальоны перебрались через топкую прибрежную полосу и начали быстро продвигаться в направлении Лягушова. В девять пятнадцать они вошли в соприкосновение с противником.

Хорошо, что окапываться пришлось здесь, а не на том чертовом болоте у берега. Хотя туда, пожалуй, танки и не пошли бы... а им и необязательно было подходить вплотную, – они могли бы простреливать все болото издали, танковый пулемет бьет на полкилометра, пушка и того дальше. Пошли бы садить осколочными, и конец. Нет, с этим им просто повезло, здесь хоть можно закопаться...

То, что отрыл для себя Сергей, очень мало походило на аккуратные стрелковые ячейки, которые он во множестве экземпляров сооружал когда-то на занятиях; но спрятаться можно было и здесь, это уже хорошо. Правда, он плохо представлял себе, чем такая ячейка может помочь во время танковой атаки.

Что-то грохнуло и раскололось прямо над ним, совсем близко – так, по крайней мере, ему показалось. «Черт, каски хоть бы выдали», – успел он подумать, юркнув головой в кучу свежотрытой земли. Выждав несколько секунд, он выглянул: первый танк горел, развернувшись левым бортом, но из-за него, справа, шел второй, а за вторым – чуть поодаль, уступом – третий.

Издали танки казались неподвижными, освещенные в лоб утренним солнцем серые прямоугольные коробки их корпусов стояли на месте, и только если присмотреться – было видно, как по сторонам торопливо мелькают, взблескивая, отполированные звенья гусениц. Маленькие человеческие фигурки маячили между танками. Сергей смотрел на них с жадным любопытством, забыв об опасности, – так вот они какие, эти самые немцы – не на карикатуре, не на фотографии в газете, не во сне, вот они какие в жизни, на расстоянии винтовочного выстрела...

Стиснув до боли зубы, он стрелял, тщательно выцеливая каждую пулю, пока не кончилась обойма, потом повернулся на бок, чтобы расстегнуть подсумок, но тут мимо него начали бежать назад, и он тоже вскочил и побежал, пригибаясь. Вот тут-то ему стало здорово страшно, – когда он увидел, как бегут другие.

Они добежали до канавы, через которую прыгали час назад. Наверное, здесь раньше велись какие-то осушительные работы, канава оказалась достаточно глубокой и удобной, они еще подкопали ее, насыпали что-то вроде бровки – получился почти полный профиль. Пушки тем временем подпалили еще один танк.

Выходит, недаром они их волокли, эти пушчонки, без них тут была бы совсем крышка. Хоть бы зажигательные бутылки дали, а то ведь ничего – винтовка, лопатка саперная малая

(тоже не жук на палочке – оружие ближнего боя) и гранаты. Две штуки на нос! И не РГД, а самые обыкновенные «феньки»; вот и держись против танка...

И они держались – приблизительно до полудня или около этого, и то только потому, что к ним подоспело несколько бронебойщиков с петезрами. Орудия к тому времени уже умолкли, – они били прямой наводкой, пока не кончились снаряды, а потом одно раздавил танк, вместе с расчетом, одно успели укатить, а два пришлось бросить.

День выдался погожий, жаркий. На рассвете, когда переправлялись, воды кругом было хоть отбавляй, а сейчас – ни глотка; фляги стеклянные давно у всех побились к чертовой матери (один парень даже здорово порезался, чуть живот себе не пропорол). И придумал же кто-то, в рот ему пароход, – самого бы с такой флягой на передовую. Премию еще небось получил за экономию металла для нужд народного хозяйства... тоже, изобретатель!

Хорошо еще, патронов было много. Если бы тем ребятам с ихними сорокапятимиллиметровыми столько снарядов, без лимитов на орудие, – хрен бы немцы выгнали их оттуда. Патронов можно было не беречь, только успевай стрелять. И Сергей стрелял и стрелял, торопливо лоя на пляшущую мушку серо-зеленые фигурки в тускло отсвечивающих касках; этот металлический блеск неприятно напоминал твердые хитиновые головки насекомых, и он бил в них с гадливостью, с омерзением, с отчаяньем. Кто-то из немцев падал, он ни разу не смог определить, упала ли очередная фигурка от его или от чужой пули, он уже и не надеялся, что его выстрелы попадают в цель, но все равно стрелял и стрелял, а серо-зеленой саранчи с тускло поблескивающими металлическими головками все не убывало. С отчаяньем и яростью бросал он взад и вперед горячую и скользкую от пота рукоять затвора, вбивая в ствол патрон за патроном, – и его глаза застилало туманом, то ли от усталости и жажды, то ли от дыма горящих танков. А может, просто от доводящей до исступления очевидности того, что их контратака уже захлебнулась, что они не дойдут сегодня до этого дерьмового Лягушова и нет никакого наступления, никакого перелома...

Он не понимал, почему все так получилось, почему не было ни поддержки с воздуха, ни взаимодействия с танками – всего того, без чего (как их учили) невозможны наступательные действия пехоты в современном бою. Впрочем, отсутствие самолетов его не особенно удивило, на них никто всерьез и не рассчитывал. Но танки?!

Пехота стала отходить в полдень, потеряв не меньше половины состава от мин, которыми начали забрасывать ее отказавшиеся от лобовых атак немцы. К этому времени все было покончено и там, западнее Лягушова, где на штабной карте сходились острия двух плавно изогнутых стрел с ромбами – условным обозначением бронетанковых и механизированных частей. Полк легких танков, которому полагалось выйти в заданный район с севера, был уничтожен еще на переправе. Двести одиннадцатой бригаде повезло больше. Рано утром ее тридцатьчетверки смяли правое крыло немцев, прежде чем те успели что-нибудь сообразить. Но потом они все-таки сообразили, и под самым Дрябкином танки Николаева встретил убийственный огонь восьмидесятивосьмимиллиметровых зениток. Катастрофическую роль сыграло здесь отсутствие оперативной связи, – рациями не были оборудованы даже машины комбатов; пока удалось столкнуться со всеми подразделениями, часть машин была потеряна впустую, а время упущено.

Основные силы бригады, уже не рассчитывая на соединение с Вергуном, пошли на Лягушова – навстречу наступающим частям шестнадцатой дивизии. Но этот ход, естественно, следовало предвидеть и немцам. Наперерез бригаде были брошены танки и штурмовые орудия – в числе значительно большем, чем требовалось для заслона. Очень скоро бой превратился в побоище.

Танки умирали по-разному. Легкие БТ-7 с их слабой пятнадцатимиллиметровой броней и авиационными двигателями, работающими на высокооктановом горючем, чаще всего вспыхивали от первого же попадания в моторный отсек. Иной, потеряв гусеницу, долго крутился на

месте, отстреливаясь до последнего снаряда, пока какой-нибудь меткий башнер с немецкого Т-IV не добивал его бронебойно-зажигательным. Иные, словно ослепнув от ярости и исступления этого неравного и бессмысленного боя, шли на таран. Так, расстреляв весь боезапас, погиб в своем легком танке комиссар Ропшин; так, за секунду до взрыва в боевом отделении протаранила немецкое штурмовое орудие горящая тридцатьчетверка комбата Вигена Сарояна.

Николаеву уже дважды пришлось пересаживаться под огнем. КВ, на котором он утром повел в бой свою бригаду, остался в болоте под Дрябкином с развороченной снарядом дырой на месте правого ведущего колеса. Приказав подготовить танк ко взрыву, комбриг перебрался на случившуюся рядом легковую машину с кольцевым поручнем-антенной вокруг башни; это был один из немногих его танков, оборудованных рациями, но преимущество это оказалось очень кратковременным, потому что уже через несколько минут рация вышла из строя от удара болванки, проломившей башенную броню.

Полковник испытывал странное, непривычное ему отвратительное чувство растерянности, – инициатива боя ускользала из его рук, он чувствовал, что не в состоянии им руководить. Бригада уже не была цельным и повинующимся воле командира боевым соединением, она становилась скопищем экипажей, в одиночку борющихся за свою жизнь.

Еще раз перебравшись под огнем в другую машину, тридцатьчетверку старшего лейтенанта Михайлюка, он попытался сжать в кулак все уцелевшие танки, чтобы пробиться на Лягушово. Окружения еще не было, но оно могло стать фактом в любую минуту. Полковник видел, как сторел Ропшин, как вместе с протараненной им немецкой штурмовой самоходкой взорвался танк Сарояна; кольцо серых граненых машин все теснее сжималось вокруг остатков двести одиннадцатой бригады.

Превратившись в простого башенного стрелка, Николаев думал теперь только об одном: чтобы эта победа обошлась немцам как можно дороже. Слившись воедино с прицелом, спусковой педалью и маховичками поворота башни и подъема орудия, чувствуя его ствол как бы продолжением самого себя, он стрелял и стрелял с ходу, без остановок, лоя в прицел прямые черно-белые кресты и цифры на серой, чужого, непривычного цвета броне...

Иногда ему удавалось увидеть результаты своей стрельбы. Он видел, как задымили от его выстрелов один, потом другой Т-III, как осколочный снаряд разорвался в полном мотопехотинцев кузове открытой колесно-гусеничной «цуг-машины», а потом страшный грохочущий удар сорвал комбрига с сиденья и швырнул вниз, в подбашенное отделение.

Сознание покинуло его не сразу, он еще успел услышать крик механика-водителя и увидеть, как дым и огонь валят сквозь трещины выдавленной взрывом переборки моторного отсека. И он успел еще подумать – подумать сразу о многом и самом страшном, об этом бездарном бое, о своей погубленной бригаде, о Тане, опять остающейся сиротой, – и все погасло.

Глава 5

Оккупация пришла к ним не в огне и грохоте; она вползла и установилась как-то незаметно, как ясным днем подкрадывается тьма к солнцу перед затмением.

Двадцатого утром, часов в десять, немецкая разведка появилась на Старом Форштадте. Мотоциклисты – в глубоких касках, в очках, с легкомысленно закатанными рукавами серо-зеленоватых курток – неторопливо проехали по Челюскинской, начав дымком заграничного бензина, и свернули к центру. На площади Первой Конной немцы спешили – то ли посоветоваться, что делать дальше, то ли просто размять ноги; они снимали каски, утирали лбы цветными платками, гомонили и хохотали, хлопая друг друга по спинам. Потом один, длинноногий, отошел в сторонку и справил малую нужду у памятника комбригу Котовскому.

Поездив по улицам, кое-где изобразив мелом на стенах ершистую стрелу с колючими буквами и цифрами и не сделав ни одного выстрела, немцы исчезли так же незаметно, как и появились. До самого вечера город был тих и безлюден, но перед заходом солнца на тротуарах появились любопытные, настороженные и готовые юркнуть назад при первом же сигнале тревоги. Постепенно люди смелели, – было маловероятно, чтобы главные силы немцев рискнули вступать в город ночью. Скорее всего, новую власть следовало ждать не раньше утра; а старой уже не было. И в этот критический час, неизвестно кем пущенные, поползли по улицам слухи о разбитых складах и лежащих без надзора сокровищах...

Действительно, складов в городе было много, и вывезти из них успели лишь самую малость: долгое время никто не решался первым заговорить об их эвакуации, чтобы не быть обвиненным в паникерстве, а потом вдруг оказалось, что говорить уже поздно. Склады остались не вывезенными, и не сегодня завтра все они должны были достаться врагу.

Решение этой проблемы возникло, по-видимому, совершенно стихийно. В Энске давно уже было очень плохо со снабжением, а после бомбежки оно вообще прекратилось; населению не выдавали даже хлеба, потому что большой хлебозавод сгорел, а немногие уцелевшие пекарни не работали из-за отсутствия воды и тока. Поэтому, когда вечером двадцатого августа толпа разгромила склады мясокомбината и на улицу полетели ящики с консервами, ею руководило не только желание спасти добро от немцев: люди попросту хотели есть. нескольких торговых баз. Кое-что нашлось и на молокозаводе, хотя его скоропортящаяся продукция на складе не залеживалась. Поиски продолжались всю ночь; уже под утро в одном из тупиков сортировочной станции обнаружили цистерну с патокой – люди слетелись на сладкое, как мухи. Скоро у цистерны установилось даже некое подобие очереди, и уже какой-то ловкач, взбравшись наверх к открытой горловине, ладился черпать даровую сладость ведром, привязанным на тут же сорванном телеграфном проводе.

Но горожане охотились не только за съестным. Были разобраны склады «Сельхозснаба», наполовину сгоревшие месяц назад, но хранившие еще много добра (преимущественно скобяного и москательного); та же участь постигла склад спортивного общества «Динамо», хотя из хранившегося там спортивного инвентаря лишь немногое могло представлять какую-то реальную ценность в условиях войны и вражеской оккупации. Более понятным было расхищение полуразрушенной бомбами обувной фабрики: запасы кожи, готовая продукция, часть машин – все исчезло в течение нескольких часов.

На рассвете некоторые улицы Энска представляли собой зрелище совершенно фантастическое. Человек со связкой боксерских перчаток на шее волок кипу серых госпитальных одеял; семеня старушка, бережно прижимая к груди большой круг швейцарского сыра; женщины везли на тачке громадную, зловещего вида бутылку в ивовой корзине – того типа, что служит для перевозки кислот. Двое мальчишек бежали с метательным копьем, которое прогибалось под тяжестью нанизанной на него гирлянды колбас. Ведя за руль отчаянно дребезжащий обесши-

ненный велосипед, ковылял хромым инвалид, шел интеллигент, с достоинством унося домой ведро дегтярного мыла.

Все это продолжалось и днем. Подходящих объектов в самом городе уже поубавилось, но зато нашлись новые на сортировочной и товарной станциях – когда кому-то пришло в голову начать сбивать замки на воротах пакгаузов. Знаменитая цистерна все еще привлекала к себе любителей сладкого, – вычерпать ведрами шестьдесят тонн патоки оказалось не так просто, к тому же, по мере понижения уровня, добыча ее становилась делом все более трудным. На тесной площадке возле горловины суетилось теперь несколько человек, помогавших и мешавших друг другу. Толпа ждущих своей очереди внизу нетерпеливо шумела и поторапливала добытчиков; и никто не заметил, что в полусотне метров от цистерны, вырулив из-за угла пакгауза, остановилась ни на что не похожая машина – приземистая и угловатая, тусклого серого цвета, с прямыми черными крестами на скошенных бортах.

Стоя на сиденье бронетранспортера, кинооператор пропагандной роты СС снимал колоритную сцену, пока не кончилась пленка. Потом он спрыгнул вниз и хлопнул водителя по плечу.

Низколобый «хеншель» раскатисто рыкнул мотором, и восемь его тяжелых рубчатых колес стали неторопливо и цепко перебираться через уже тронутые ржавчиной рельсы.

В этот день, около девяти утра, Таня стояла у калитки на Пушкинской и разговаривала с соседкой, еще возбужденной после ночного похода на маслобойку. Когда соседка ушла к себе, Таня осталась у калитки. Ей хотелось побыть одной. Эти два дня они с Люсей избегали друг друга, потому что говорить было сейчас не о чем, а молчать – тяжело.

Она стояла, ни о чем не думая, просто машинально воспринимая все эти внешние приметы погожего утра – чириканье воробьев, теплоту солнечного луча на щеке, прохладные прикосновения еще мокрых от росы листьев, навязчиво знакомый мотив кем-то насвистываемой песенки. Свист приближался, громкий, совершенно беззаботный, словно никакой войны и нет; теперь Таня узнала – «Спят курганы темные, солнцем опаленные».

Таня привстала на цыпочки и перегнулась через калитку – так заинтересовал ее человек, способный насвистывать под носом у немцев. Человек оказался уже рядом. Собственно, это был не человек, а так, мальчишка. С мешком, перекинутым через плечо.

– Ну чего, чего выглядываешь, – сказал он, проходя мимо, – я вот тебе выгляну...

– Подумаешь, испугал, – отозвалась Таня. Мешок, с виду почти пустой, но тяжело обвисший на плече грубияна, подсказал ей следующий выпад: – Награбил за ночь, так теперь боишься, чтобы на тебя посмотрели!

– Уж не тебя ли боюсь, – презрительно сказал мальчишка. Он остановился и сбросил с плеча мешок, глухо брякнувший о тротуар. – Слышь, немцы у вас тут были уже?

У Тани противно ослабли колени.

– Как... немцы? – едва выговорила она. – Разве они... их уже видели?

– У нас на Форштадте они еще вчера были, – сказал мальчишка хвастливо. – Это вы тут сидите, ни фига не знаете...

Он перевел взгляд с Тани на мешок и обратно, что-то обдумывая; потом нахмурился и сказал покровительственно:

– Ну чего, немцев испугалась, – подумаешь! Ишь позеленела, аж веснушки все повылазили. Слышь, я у тебя мешок оставлю до вечера, а? У нас там наверняка немцы уже всю шалаютя, увидят – отымут в два счета...

Не дожидаясь разрешения, он поднял мешок, раскачал его и зашвырнул через забор прямо в кусты сирени.

– Нехай там полежит, – сказал мальчишка. – Я приду, как стемнеет заберу. А может, завтра. Договорились?

– Ни о чем мы не договаривались. – Таня пожалала плечами. – Хочешь оставлять – оставляй, я-то тут при чем? Если мешок твой украдут...

– Тогда тебе не жить, так и знай, – пригрозил мальчишка. – Ладно, это я так, пошутил. Не дрейфь, а то опять станешь конопатой. Стырят мешок – плакать не буду.

– А что у тебя там?

– Консервы с мяскокомбината, называются «тушенка». Я тебе тоже оставлю, я не жлоб.

– Очень нужно!

– Ты думаешь, тебя немцы пряниками будут кормить? Жди!

Таня покраснела от возмущения.

– Я – жду, что меня будут кормить немцы?! Ну, знаешь! Но только мне и ворованного тоже не нужно, понял?

– Ну и дура, – обиженно сказал мальчишка. – «Ворованное», «ворованное»! Лучше, чтобы все это немцы сожрали, да?

Он надулся и пошел прочь.

– Послушай, – позвала Таня нерешительно, но мальчишка не оглянулся. «В общем, он, пожалуй, прав, – подумала она виновато. – Действительно ли это воровство – утащить свое из-под носа у немцев? Может быть, это даже похвально, патриотично...»

Таня вернулась в дом. Людмила, подмостив под голову три подушки, читала «Виконта де Бражелона». Таня села на постель напротив, обхватив руками колени.

– Ты с кем-то говорила? – спросила Люда якобы спокойным тоном, хотя Таня отлично почувствовала всю деланность этого спокойствия.

– Да, с Катериной Ивановной... И потом один мальчишка бросил нам в сирень мешок с консервами.

Люда отложила книгу.

– К нам, в сирень? Какой мальчишка?

– Откуда я знаю! – с беспричинным раздражением отозвалась Таня. – Бросил мешок через забор и сказал, чтобы полежал до вечера. Сейчас он боялся взять его с собой, потому что... – Таня запнулась и помолчала несколько секунд. – В общем, не знаю. Он говорит, что вчера немцы были на Форштадте.

– Катерина Ивановна об этом уже говорила.

– Твоя Катерина Ивановна – сплетница!

– Но в данном случае, это, видимо, не совсем сплетня...

– Не знаю, я этих немцев не видела, – упрямо сказала Таня. – Может быть, мальчишка тоже врет! Какой-то подозрительный тип – пришел, бросил мешок вдобавок еще и обозвал меня конопатой. Почему я знаю, что у него там действительно только консервы? А вдруг гранаты?

– А зачем ты ему позволила? С тобою всегда всё делают, что хотят. Нужно было его просто прогнать, вот и все.

– «Просто прогнать», – передразнила Таня. – Тебе все просто! Я все-таки пойду посмотреть, что там в мешке...

Она соскочила с кровати и вышла; Людмила снова взялась за книгу. Через несколько минут Таня вернулась с обескураженным видом.

– Действительно, консервы, – сказала она. – Ужасно грязные банки, все вымазаны каким-то жиром. В общем, они выглядят довольно аппетитно – такие большие, наверное по килограмму...

– Ты представляешь – есть ворованное, – с чувством сказала Люда. – Мне кажется, я бы скорее...

– Что? И потом, он прав – в данном случае это в общем-то и не совсем воровство, – возразила Таня. – Ведь людям нечего есть, Люся! А тут столько продуктов, которые могут достаться немцам,

– Да, пожалуй... Я как-то об этом не думала. Людмила опять взялась за книгу. Несколько минут в комнате было тихо.

– Просто не понимаю, как ты можешь читать, – с отвращением сказала Таня, и голос ее задрожал. – В такое время...

– А что же я должна делать, по-твоему? – спокойно спросила Людмила. – Лучше сходить с ума?

– Да уж лучше сходить с ума, чем лежать бесчувственной деревяшкой и читать про этих дурацких мушкетеров! Господи, зачем я не ушла пешком!

Таня упала головой в подушку и отчаянно разрыдалась. Помедлив минуту, Люда отложила книгу, встала и принесла из кухни воды,

– Вставай, вставай, не реви, – сказала она, тормоша Таню за плечо. – Выпей воды, успокойся, распустилась ты безобразно, Татьяна...

Таня отбрыкнулась, но затихла.

– Может быть, все еще обойдется, – продолжала Людмила, – А главное – слезами сейчас ничему не поможешь, пойми, Танюша. Сколько таких примеров в литературе, хотя бы у Джека Лондона, когда...

– Да не говори ты глупостей! – Таня вскочила и села на постели, поджав под себя ноги. – При чем тут Джек Лондон? Ты хоть на минутку отдаешь себе полный отчет в нашем положении? Ну? Почему ты молчишь?

– Перестань....

– Ага! Теперь «перестань»! Всерьез ты говорить не хочешь, а придумывать дурацкие утешения с примерами из литературы, словно мне десять лет и я ничего не...

– Я тебя не утешаю, Татьяна, а пытаюсь тебе помочь.

– Это не помощь – рассказывать сказки, когда горит дом!

– Я не понимаю, – устало сказала Люда, – чего ты от меня хочешь? Какой помощи? Я в таком же точно положении, как и ты; и я совершенно не виновата, что мы с тобой тут остались...

Таня снова легла и отвернулась лицом к стене.

– Мы с тобой не в равном положении, – сказала она, помолчав. – Может быть, внешне – да. Но на самом деле тебе гораздо легче, потому что ты храбрая, а я – трусиха. Я оказалась трусихой. Просто я ничего не знала до последнего момента... Пока не увидела бомбежки, не знала, что такое война... Пока не оказалась вот так, брошенной у немцев, не знала, что такое страх... А сейчас я боюсь! Понимаешь? Я просто боюсь день и ночь, у меня все дрожит внутри, а ты еще говоришь – я распустилась! Да я сейчас так себя в руках держу, как никогда еще не держала, потому что, если бы я сейчас хоть настолечко вот позволила себе распуститься...

Прошел день, другой, третий. Девушки не выходили за калитку – боялись, да и некуда было ходить. На Пушкинской было тихо, но рев немецких машин временами отчетливо доносился с других улиц, и соседка, часто бывавшая в городе, видела немцев уже несколько раз. Таня никогда не расспрашивала, как они выглядят; по тем же, вероятно, соображениям, по каким средневековый христианин избегал разговоров о черте.

Неожиданно пошла вода, – она была мутной и ржавой и едва сочилась из кранов, но необходимость ежедневных хождений к колодцу уже отпала. Тане было странно, что при немцах что-то может еще налаживаться; этак и телефон вдруг заговорит! Но жизнь в оккупации налаживаться не спешила.

Зато начали появляться приказы, распоряжения, оповещения. Широкие листы бумаги, наверху – распростерший узкие длинные крылья стилизованный орел, держащий в когтях веночек со свастикой; под ним – текст на двух языках: слева – немецкий «Befehl» или «Bekanntmachung», справа – украинский перевод. Первый прочитанный Таней приказ (его наклеили на заборе через улицу) предписывал в недельный срок сдать германским властям все имеющееся у населения оружие, предметы обмундирования и снаряжения Красной Армии, равно как и все похищенное из складов, предприятий и магазинов; лица, не сдавшие вышеперечисленное имущество в указанный срок, подлежат расстрелу. Подпись – «Der Feldkommandant».

Таня вернулась домой и рассказала о прочитанном Людмиле.

– Я знаю, для чего это им нужно: они переодевают своих шпионов. Нечисть фашистская! Ты можешь себе это представить, Люся, – кто-то является к тебе из-за тридцати земель, незванный-непрошенный, и начинает командовать, что тебе делать, что нужно отдать и что можно оставить? Да что они, с ума посходили, что ли? Я знаю, это наивно выглядит, глупо даже, но вот ты попробуй забудь о том, что все с этим уже свыклись, и попробуй подумать об этом как бы впервые...

– Не вижу смысла в таких размышлениях. – Людмила пожала плечами. – С таким же успехом можно сесть и думать: «А ведь среди людей попадаются плохие; почему природа не устроила так, чтобы все рождались только хорошими?»

– Ничего ты не понимаешь, – вздохнула Таня. – Есть вещи, которые происходят только потому, что люди к ним привыкли. И к войне тоже привыкли, Люся, я тебя уверяю, что все дело только в этом! Конечно, все боятся войны, но боятся, скорее, того, что она приносит с собой: боятся всяких лишений, опасности... А ведь главное совсем не в этом, Люся, пойми ты, совсем не в этом дело; и даже если бы можно было вести войну какими-то более человечными способами, она все равно не стала бы менее страшной, – именно сама сущность войны, ее идея, мысль о том, что кто-то более сильный может прийти и подчинить себе другого лишь потому, что этот другой слабее... Ты знаешь, мне совсем не хочется жить.

– Всем слабым людям не хочется жить, когда становится тяжело. Маяковский очень правильно ответил на последние стихи Есенина.

– Чтобы тут же последовать его примеру.

– Хотя бы! О чем это говорит? Только о том, что человек оказался слабее поэта. Но прав все-таки поэт.

– Господи, до чего ты любишь прописные истины... Успокойся: я не собираюсь ни вешаться, ни вскрывать себе вены. Я просто констатирую факт – жить мне расхотелось...

Людмила долго смотрела на нее, словно не узнавая.

– А знаешь, Татьяна, – сказала она в раздумье, – я, кажется, действительно очень в тебе ошиблась...

– Во мне все ошибались. Все считали меня смелой и отчаянной, потому что я дралась с мальчишками и изводила преподавателей! А я совсем не такая... я трусиха, я тебе это уже говорила.

Людмила усмехнулась.

– Дело не в трусости. Я считала тебя способной на большое чувство, на любовь... ну, настоящую, такую, какая бывает в книгах. Я думала, что с Сергеем у тебя все очень серьезно...

– Не понимаю, – встревоженно сказала Таня. – При чем тут мое чувство к Сереже?

– Вот именно – ни при чем! – почти выкрикнула Людмила. – В том-то и дело, что сейчас чувство это – где-то там, а все твои переживания – вот здесь, и между ними никакой не осталось ни связи, ни зависимости, ничего!

– Как это – не осталось...

– Не знаю, Татьяна! Понятия не имею, как это случилось, но ты сейчас только о себе думаешь, только о себе и ни о ком больше, как самая последняя... эгоистка. Ей, видите ли, «расхотелось жить»! Ты не заслуживаешь того, что тебе дано. У тебя есть два человека, которые тебя любят, а ты...

Голос у Людмилы прервался, – Таня смотрела на нее испуганно, не узнавая свою всегда выдержанную подругу, – но тут же она овладела собой.

– Тебе полезно было бы побыть в... другом положении, – добавила она, встав и не глядя на Таню. – Когда знаешь, что совершенно никому не нужна. Это тебе было бы очень полезно...

Людмила вышла из комнаты. Таня посмотрела ей вслед, но осталась на месте. Едва ли она смогла бы помочь подруге утешениями.

Она чувствовала себя почему-то виновной в том, что разговор принял такой оборот. Впрочем, дело ведь не в том, высказывается ли вслух та или иная мысль...

Люда все это время не переставала думать о том, что Галина Николаевна бросила ее на произвол судьбы; это Таня чувствовала, хотя обе тщательно избегали разговоров на эту тему. Сотрудница института, от которой Людмила узнала о бегстве Кривцова, сказала ей, что заместитель директора пользовался плохой репутацией, считался человеком ненадежным; доктор Земцева якобы говорила на одном из собраний – еще до войны, – что трудно представить себе дело, которое Кривцов не завалил бы, взяв в свои руки. Как же могла она спокойно уехать, зная, что именно от Кривцова будет зависеть судьба дочери?..

Таня чувствовала, что для Люды сейчас главным было это ее горе; перед мыслью о том, что она оказалась ненужной матери, отступал даже страх. И утешать ее, убеждать в обратном, оправдывать поступок Галины Николаевны Таня не могла. Она и сама не находила этому поступку никаких оправданий.

Конечно, не ехать та не могла, – это Таня понимала. Тема, над которой работала возглавляемая Земцевой группа, была связана с оборонной промышленностью, в таких случаях не спрашивают, хочет человек уезжать или не хочет. Но что Галина Николаевна смогла уехать, не настояв на разрешении для Людмилы, поручив ее заботам человека, которого сама считала ни на что не годным головотяпом, – это казалось Тане чудовищным и необъяснимым...

Она вышла в кухню, спустилась в сад по истертым каменным ступенькам черного хода. Людмила стояла под орешником, разглядывая что-то наверху из-под ладони.

– Люсенька, – сказала Таня, чувствуя, что, какие бы слова она сейчас ни произнесла, все они окажутся пустыми и ненужными, – Люсенька, я...

– Мне только сейчас пришло в голову, – прервала ее Людмила таким тоном, словно между ними не было минуту назад никакой размолвки. – Смотри, сколько в этом году орехов! А если явятся немцы? Они же объедят все дерево. Может, обобьем, пока не поздно? Ссыпем где-нибудь в сарае и будем потихоньку подгрызать. Seriously, мне не хотелось бы остаться зимой без орехов...

Таня помолчала. Люда не хочет продолжать тот разговор; может быть, она права. В самом деле, слова здесь ни к чему.

– Ну что ж, – вздохнула она, – можно и оббить, почему же нет. Но только я надеюсь, что немцы здесь не появятся...

Она словно накликала: немцы появились ровно через час.

Они приехали на двух огромных тупорылых грузовиках тусклого серого цвета, крытых зашнурованным по краям брезентом. Таня, которая в это время возилась с калиткой, пытаясь кое-как приладить на место сломанную петлю, увидела, как первая машина появилась из-за угла и повернула в их сторону; уронив молоток, она шмыгнула в кусты и, пригибаясь, как под обстрелом, помчалась к дому. Людмила была на кухне, занятая стряпней. Увидев Таню, она побледнела и выпрямилась с ножом в одной руке и недочищенной картошкой в другой.

– Немцы, – шепнула Таня одним дыханием, словно те могли ее услышать. – Что делать? Люда бросила нож и картофелину и стала вытирать руки о передник.

– Не знаю, – сказала она растерянно. – Они что – к нам?

Таня пожала плечами.

– Я только увидела машину – такую огромную, вот как дом, – она сворачивала сюда...

Людмила на цыпочках подошла к двери и прислушалась. С улицы отчетливо доносился шум мотора, то увеличивающего, то сбрасывающего обороты, и странные звуки – как будто фыркало и посапывало какое-то огромное животное. Необъяснимое это сопение было особенно страшным. Таня зажмурилась и прикусила кулачок.

– Спокойно, – сказала Людмила вздрагивающим голосом. – Спокойно, Танюша. Бежать некуда, поэтому будем сидеть здесь. Как будто мы ничего не знаем. Иди сюда, будем чистить картошку...

Она – так же на цыпочках – вернулась к столу и снова взялась за нож, продолжая прислушиваться с напряженным лицом. Таня замерла у двери, не отнимая рук ото рта, словно боясь закричать. Мотор на улице затих, он теперь работал на холостых оборотах, но где-то подальше слышался теперь рев другого.

– Иди сюда, – строго повторила Люда, – садись и работай как ни в чем не бывало. Совершенно необязательно, чтобы они застали тебя подслушивающей у двери.

Они посидели, искромсали несколько картофелин. Увидев, что осталось у нее в руке, Таня истерически фыркнула – не то засмеялась, не то всхлипнула.

– Не могу я так сидеть! – крикнула она, бросая нож. – Хуже всего, когда спрячешься и ничего не знаешь. Я ведь не страус, пойми! Можно, я выгляну?

– Ну выгляни, – неожиданно легко согласилась Люда. – Или погоди, посмотрим вместе. Только ни в коем случае не выходить – посмотрим из окна спальни...

Осторожно выглянув из окна, Таня чуть не закричала от страха: ей показалось, что улица кишит фашистами, как муравьями.

– Ты посмотри, сколько их, Люся...

– Человек двадцать. Ужас...

Они смотрели, не отрывая глаз, прикованные к окну любопытством, которого уже не мог преодолеть даже страх. Серо-зеленые немцы прохаживались вокруг машины, закуривали, пили из фляжек, разглядывали улицу. Потом из калитки напротив вышли двое: один полез в высокую кабину, другой стал отворять ворота. Грузовик взревел и стал разворачиваться задним ходом.

Девушки переглянулись. В доме напротив могло разместиться человек шесть, самое большее; значит, остальные будут устраиваться по соседству. Впрочем, неизвестно, как вообще немцы устраиваются на ночлег, – может быть, они спят в машине или разбирают палатки.

Таня отошла от окна и присела на край постели, не сводя с Людмилы испуганных глаз, словно ожидая какого-то совета. Людмила молча пожала плечами – будь что будет.

– В конце концов, от этого ожидания можно сойти с ума, – сказала она устало. – Скорее бы уж...

– Не надо, Люсенька, – шепнула Таня, охваченная еще большим страхом. Если уж Люся так заговорила... – Не нужно, может, еще и обойдется...

Людмила взяла себя в руки.

– Господи, конечно, в конце концов обойдется, – сказала она и попыталась даже рассмеяться (это у нее получилось довольно истерично). – Просто сейчас слишком все это противно и... унижительно! Посмотреть на нас сейчас со стороны – сидим, как две загнанные мыши...

Она опять посмотрела в окно и сказала почти спокойно:

– Один, кажется, идет к нам. Таня медленно поднялась.

– Бежим, – шепнула она, глядя на Людмилу большими глазами.

– Глупости, куда ты побежишь?..

Они услышали, как протяжно заскрипела калитка, потом по дорожке простучали шаги – какие-то необычно тяжелые и твердые, словно чугунные. Во входную дверь постучали.

– Не ходи, ты с ума сошла! – ахнула Таня, когда Людмила сделала шаг к двери.

– Нужно же кому-то выйти...

Людмила, с совершенно, белым лицом, помедлила на пороге и быстро вышла, плотно закрыв за собою дверь.

С минуту из передней доносились неясные голоса Людмилы и немца, потом они перешли в коридор. Таня слышала, как скрипнула дверь в столовую; голоса стали тише. Потом снова скрип двери, шаги, голоса – на этот раз в кабинете Галины Николаевны. Очевидно, немец потребовал показать ему дом.

Таня стояла, прижавшись спиной к стене, и в голове у нее была сейчас только одна мысль: чтобы немец, когда войдет сюда и увидит ее, не заметил, как дрожат у нее руки и колени. Это было очень важно, – чтобы он не заметил. Не показать страха. Только не показать страха! Впрочем, руки она спрячет за спину, вот так. Пусть теперь дрожат себе на здоровье. Только бы фашист не заметил, только бы он не вообразил, что советская девушка его боится; она не должна его бояться, не должна, не имеет права – перед Сережей, перед Дядейсашей...

Наверное, немец все-таки что-то заметил, потому что он, увидев Таню, улыбнулся и покачал головой, сказав при этом длинную фразу. Ни одного слова из нее Таня не разобрала.

– Кажется, он сказал, что не надо бояться, – сказала Людмила, вошедшая следом за немцем. – Успокойся, ничего страшного, они просто хотят здесь переночевать...

Немец, продолжая улыбаться, обернулся к Людмиле и что-то спросил. Та подумала и кивнула.

– Sicher, – сказала она, – ihr konnt hier schlafen. Und in Speisesaal auch³.

Немец сказал что-то утвердительное, – дескать, договорились, все в порядке, – и ушел, приложив руку к пилотке. Людмила обессилено опустилась на постель и закрыла глаза.

– А куда денемся мы? – спросила Таня после долгого молчания.

– Переночуем в мамином кабинете, – сказала Люда, – Пусть спят здесь и в столовой... Я не хочу, чтобы они рылись в маминых книгах. Поставим там раскладушку и будем спать по очереди. Кстати, там единственный надежный замок... остальные двери не запираются...

– И окно выходит в сад, – сказала Таня. – Всегда можно выскочить, в случае чего.

Я об этом тоже подумала. – Людмила вымученно усмехнулась. – Ну что ж, давай уберем отсюда все наше... Я им сказала, что постельного белья у меня нет.

– Только и не хватало, давать им белье!

Они едва успели забрать из спальни и столовой все нужное, как постояльцы ввалились в коридор. Их было пятеро. Таня избегала смотреть, но ей показалось, что среди них был тот, что приходил на разведку, – коренастый, средних лет, с темным от загара лицом рабочего; потом был еще один – очень молодой, с веснушками, неестественно рыжий. Остальных она не различила.

Немцы сразу наполнили дом своим чугунным топотом, резкими нерусскими голосами и сложным, ни на что не похожим запахом бензина, пыли, оружейной смазки и дешевой парфюмерии. Проходя из кухни в кабинет Галины Николаевны, Таня всякий раз опасливо косилась на сваленный в коридоре багаж постояльцев – серо-зеленые шинели, брезентовые сумки, каски, крытые рыжей телячьей шкурой ранцы, плоские котелки, обшитые коричневым сукном фляги с пристегнутыми алюминиевыми стаканчиками. Тут же, в углу, были беспечно оставлены винтовки – все пять штук; Таня почему-то обратила внимание на аккуратные пластмассовые колпачки, которыми были закрыты дульные срезы.

³ Конечно... можете спать здесь. И в столовой тоже (нем.).

Тот же «знакомый» немец заглянул в кухню и спросил что-то насчет воды, показывая жестами, что хочет умыться. Хорошо, что в саду был еще один кран, служивший раньше для поливки; Людмила повела показывать. Раздевшись по пояс, немцы галдели и плескались там около часа. Наконец они уgomонились, разобрали по отведенным им комнатам свой багаж. Таня видела, как двое из них, собрав котелки и фляги, куда-то ушли – очевидно, получать ужин.

– Господи, а мы так ничего и не сготовили, – вспомнила Люда. – У меня от страха совсем аппетит пропал...

– Не знаю, у меня, по-моему, наоборот. Давай-ка сварим эту картошку, даром, что ли, чистили...

Таня затопила плиту, поставила вариться картошку, Люда заболтала оладьи (со дня бомбежки хлеба в городе не было, но Галина Николаевна перед отъездом позаботилась раздобыть где-то полмешка ржаной муки). Стало темнеть, но девушки не зажигали лампу – словно она могла привлечь немцев, как привлекала разную летучую нечисть. Из столовой, где ужинали постояльцы, доносились негромкие голоса и лязганье алюминия. За открытым окном, в тишине летнего вечера, странно ритмично, не по-русски, выводила вальс губная гармоника.

Девушки только сели за свой наспех приготовленный ужин, как в кухню вошел немец, тощий и длинный как жердь.

– Ви – хотит кушайт? – спросил он.

– Danke, – ответила Люда, – wir haben was zu essen⁴.

Немец помедлил в темноте и вышел. Тут же вернувшись, он положил на стол что-то небольшое и круглое, вроде плоской консервной банки. Потом немец щелкнул зажигалкой – принесенная им вещь оказалась странного вида коптилкой, она загорелась ярким и ровным язычком, вроде свечи.

– Da habt ihr etwas Licht⁵, – сказал немец и посмотрел на Таню. – Маленьки баришнья еще имейт Angst?⁶ Немецки зольдат нет кушайт ребьёнки, nein, nein, das ist Quatsch, Propaganda!⁷

Немец сказал еще что-то, засмеялся и вышел. Таня посмотрела ему вслед и пожала плечами.

– Еще смеется, – сказала она. – Что он там сказал насчет пропаганды?

– Ну, очевидно, он имел в виду то, что у нас пишут об их зверствах...

– Да? Жаль, что ты не посоветовала ему сходить в центр, полюбоваться. Там, наверное, тоже «пропаганда»! Необязательно питаться детьми, чтобы быть людоедом. Те легчики, наверное, считают себя цивилизованными европейцами...

– Тише, – предостерегающе сказала Людмила. – Этот высокий говорит по-русски совсем неплохо...

Ну и пусть!

Однако она замолчала. Люся, конечно, была права. Рисковать совершенно незачем.

– Смотри, Танюша, – Людмила придвинула к ней немецкий светильник. – Оказывается, это залито обыкновенным стеарином. В сущности, та же свеча, только более практичной формы – не упадет, не сломается...

– Они вообще ужасно практичны во всем, – с отвращением сказала Таня. – Крышки котелков у них служат сковородочками, а стволы винтовок закрываются специальными пробками, чтобы не попадала пыль. А карманные часы носят в футляре на цепочке! Такой грушевидной формы, со стеклом. Я видела, этот пожилой заводил. Не люди, а...

Она замолчала, так и не придумав для немцев подходящего определения.

⁴ Спасибо, у нас есть (нем.).

⁵ Вот вам немного света (нем.).

⁶ Страх (нем.).

⁷ Нет, нет, это чепуха, пропаганда! (нем.).

Часть постояльцев завалилась спать сразу после ужина, остальные сидели на крыльце, курили, негромко переговаривались о своих фашистских делах. Сидя на подоконнике в кабинете Галины Николаевны, Таня отчетливо слышала их голоса, но не могла разобрать ни слова.

– Удивительно все же, что за язык мы учили в школе, – сказала она. – Когда немец обращается к тебе еще можно что-то понять, но когда они разговаривают между собой – ни бель-меса.

– В Германии много диалектов, – отозвалась из темноты Людмила. – Прусский, баварский, нижнерейнский... Ты заметила, как они проглатывают «р»?

– «П'опаганда», – передразнила Таня, вспомнив длинного немца, и вздохнула.

Постепенно голоса затихли – немцы ушли спать. Из столовой уже доносился чей-то могучий храп, в спальне еще возились с полчаса, потом все стало тихо.

– Люся, ты ложись, – сказала Таня. – Потом я тебя разбуду. Дежурить будем по два часа?

– Можно по два. – Люда подавила зевок. – Меня и в самом деле тянет ко сну, прямо удивительно... Я была уверена, что сегодня не буду спать.

– Ну, я так переволновалась, – сказала Таня, – совсем спать не хочется. А ты ложись, чего же так сидеть... Можно было бы почитать, но со светом как-то страшнее.

Людмила – почему-то на цыпочках – подошла к двери, проверила, заперт ли замок, и, не раздеваясь, прилегла на раскладушку.

– Значит, через два часа, – сказала она через минуту, уже сонным голосом.

– Спи, спи, конечно разбуду...

Таня сидела на подоконнике, обхватив колени руками; здесь было хорошо, – из сада вливалась в окно ночная свежесть, терпко пахло ореховой кожурой и – прохладно и печально – приближающейся осенью. Но потом она вдруг сообразила с испугом, что кто-нибудь из немцев может увидеть ее, если выйдет в сад. Таня осторожно спустилась с подоконника и перебралась в старое продавленное кресло у письменного стола.

Она ни о чем не думала, в голове у нее словно вертелся какой-то калейдоскоп, где мелькали, складывались и снова беспорядочно рассыпались разрозненные впечатления сегодняшнего дня. Все – о немцах или в связи с немцами. Она снова слышала их тяжелые шаги, видела сваленные в углу каски (почему-то без рогов), винтовки, плоские штыки в черных металлических ножнах, непонятного назначения цилиндры гофрированного железа. В кабинете было тихо, слышалось спокойное дыхание спящей Людмилы. Через две двери, в нескольких метрах от нее, храпели люди, пришедшие сюда из таинственного и страшного мира фашистов, миллионеров, угольных и стальных королей. Из мира, еще недавно марсиански далекого, страшного и загадочного, пришли люди, храпящие сейчас здесь – в маленьком профессорском домике в городе Энске...

Когда Таня проснулась, за окном было утро, пасмурное и совсем уже осеннее. Сразу все вспомнив, она вскочила и посмотрела на часы. Ого, вот это называется подежурила!

– Люся, – позвала она осторожно. – Лю-ся... Вставай, уже почти девять, я все проспала...

Людмила пробормотала что-то сквозь сон.

Таня прислушалась. В доме было тихо, совершенно тихо – ни храпа, ни шорохов. Она встала, подошла к двери, прислушалась еще и повернула кнопку английского замка.

Действительно, они уже уехали. Ни немцев, ни их багажа, ничего. В столовой, в углу, валялись несколько пустых консервных банок, иллюстрированный журнал, картонная коробка, пустые тюбики с пестрыми этикетками. Несколько картонных стеариновых плошек, не выгоревших и наполовину, лежали на столе, рядом с кирпичом темного хлеба; очевидно, это следовало рассматривать как плату за постой. Стойкий чужой запах еще держался в комнате – кожи, дешевой парфюмерии, оружейной смазки.

– Вот вам и оккупация, – сказала Таня вслух, глядя на заграничный мусор в углу. – Ничего, сударыня, привыкайте...

Глава 6

Неожиданно легким захватом Энска ознаменовался значительный успех, достигнутый немцами во второй половине августа на стыке двух наших фронтов – Южного и Юго-Западного. Стремительный прорыв к Днепру, осуществленный танками фон Клейста через Первомайск и Кривой Рог, поставил под угрозу окружения советские войска, находившиеся к этому моменту на Правобережье, в треугольнике Смела – Синельниково – Помошная. Достигнув Запорожья, немецкие танковые авангарды ринулись на север, к Днепропетровску и Кременчугу. После падения Днепропетровска бессмысленность обороны на треугольнике стала очевидной; войска 6-й и 38-й армий стали отходить за Днепр.

Этот отход, торопливый и плохо организованный, позволил, однако, избежать здесь той катастрофы, которая тремя неделями позже разразилась в двухстах километрах севернее, под Лубнами⁸.

На энском направлении немцам не удалось захватить большого количества пленных. Кое-где им попадались небольшие группы, отбившиеся от своих частей, потерявшие связь, оставшиеся без боеприпасов; лесов, под защитой которых окруженцы могли бы еще попытаться догнать своих, здесь не было; кругом на сотни километров лежала степь – вытопанные, сожженные и полегшие хлеба, курганы, горький полынный ветер над седыми волнами ковыля да тучи пыли на шляхах, по которым в дыму и грохоте катилась на восток железная лавина нашествия. Красноармейцы шли наугад, пробирались балками и буераками, надеясь выйти к своим; но рано или поздно для каждой такой группы приходил час последнего боя – до последнего патрона, до последней сбереженной гранаты, – и потом для выживших начинался плен. «Los, los,—покрикивал на них немец, – дафай-дафай, Иван!» Он стоял в каске и защитных очках, с черным автоматом в руке, прочно, по-хозяйски расставив ноги в кованых сапогах; а они проходили мимо в скорбном и угрюмом молчании – отцы, сыновья, мужья, – и милосердное человеческое неведение еще скрывало от них бесконечные осенние тракты с выстрелами в хвосте колонны, тифозные и дизентерийные бараки, штабеля трупов под снегом, подземные заводы, спецблоки и крематории...

Немцы сами не ожидали, что их продвижение в районе Энска окажется таким быстрым, и это нарушило организацию приема военнопленных. Подготовленные лагеря остались позади, конвоировать отдельные группы приходилось все дальше и дальше; к тому же пленных было сейчас не так много, чтобы принимать по этому поводу какие-то экстренные меры. Их обычно запирали на день-другой в первом попавшемся помещении – погребе, конюшне, – и лишь по мере накопления сливали отдельные группы вместе, чтобы потом перегнать дальше в тыл.

Крытых помещений для таких укрупненных контингентов, уже не хватало, поэтому пленных держали под открытым небом – в балках, в песчаных карьерах или просто обнеся колючей проволокой определенный участок и поставив по углам наспех сколоченные вышки для пулеметчиков. В одном из таких импровизированных лагерей находился в начале сентября и Володя Глушко.

Немцы захватили его в Калиновке, на третий день после того, как он был задержан людьми старшего политрука Иванько. Иванько сказал ему, что с этим делом разберутся быстро, но он просидел в запертой хате всю ночь и весь следующий день, и никто к нему не пришел. Его кормили и даже снабдили махоркой, но часовой за дверьми был неразговорчив, – впрочем,

⁸ Имеется в виду запоздалый отвод войск Юго-Западного фронта после оставления Киева 17 сентября. Командующий фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос и большая группа работников его штаба и Военного совета фронта (всего около восьмисот человек) были окружены и погибли в бою.

может быть, ему не полагалось разговаривать с арестованным, Володя плохо представлял себе, что говорит по этому поводу устав караульной службы.

Вторую ночь своего ареста он проворочался без сна. Необъяснимая задержка с выяснением такой простой вещи начинала тревожить; неужели до сих пор не сумели позвонить в Энск?

Накурившись до тошноты, он задремал только под утро и проснулся от стрельбы. Вскочив, кинулся к двери, она была заперта. Где-то совсем рядом – так ему показалось – короткими очередями бил пулемет, хлестали винтовочные выстрелы. Володя плечом бросился на дверь и кубарем вылетел в сени, едва удержавшись на ногах.

Через двор, напротив, была летняя кухня, навес с криво сложенной печкой. Щуплый боец в натянутой на уши пилотке, который вчера приносил ему махорку, лежал возле печки, лицом в луже крови.

Володя пересек двор, пригнувшись и петляя, как заяц. Добежав до навеса, он схватил винтовку убитого – это оказалась новенькая токаревская самозарядка, он не знал, как с нею обращаться (на прошлогодних занятиях в кружке Осоавиахима они имели дело со старыми трехлинейками, а эти СВТ считались тогда секретным оружием, о них не полагалось даже расспрашивать). Автоматная очередь хлестнула по печной трубе, Володю осыпало саманным крошевом. Лежа врастяжку рядом с убитым, он продолжал дергать затвор, громко ругаясь от страха и отчаянья. Его вдруг ударила мысль, что сосед, может быть, вовсе и не убит, а лежит без сознания. Бросив винтовку, он кое-как перевернул тяжелое, странно податливое тело, начал было расстегивать набухшую липким гимнастерку, но тут же понял, что это ни к чему – боец действительно был мертв.

Почему-то он в тот момент совершенно забыл об опасности, хотя не прошло и минуты, как над его головой свистнула очередь. Он выпрямился, стоя на коленях, не отрывая глаз от щеки убитого, где уже подсыхала кровь. Когда его окликнули, он оглянулся с видом почти рассеянным. Немец шел от хаты тяжелой походкой, держа черный автомат в опущенной руке, – Володя очень хорошо разглядел его в какую-то долю секунды: немец показался ему очень высокого роста, лицо под глубоко надвинутой серой каской было грязным, и потным, и усталым. Граната непривычной формы торчала за коротким голенищем правого сапога. «У нас в старину носили в голенищах ножи», – подумал Володя, а немец все шел и шел к нему, и это было совершенно непонятно – как будто изменилось время; он читал когда-то что-то фантастическое на эту тему, там тоже нарушилось вдруг нормальное течение времени, и час мог промелькнуть в одну секунду, а секунда растягивалась на часы... Это ведь разбойничий прием – носить в голенище нож (он так и назывался – «засапожник»): «Эх, мы ребята-ежики, в голенищах ножики!», – а эти носят таким образом гранаты, неужели не удобнее рукояткой за пояс...

Впоследствии Володя никак не мог вспомнить самый момент пленения – что сказал немец, подойдя к нему, и говорил ли он вообще или просто обошелся жестом, – все это начисто выпало у него из памяти. Хотя, казалось бы, именно такое и должно запомниться на всю жизнь.

Очевидно, он был тогда в состоянии какого-то шока, оупения. Ему запомнилось, как немец шел на него через двор – с вороненой, тускло поблескивающей сталью в опущенной руке, ступая тяжело и косолапо; а потом была площадь, обычный сельский майдан, пленные – человек сорок – сидели на земле, а солнце нещадно палило с дымного неба, горячий ветер нес на них гарью и пеплом, и бабы с воплями метались под пылающими очеретяными крышами...

К вечеру пленных угнали из наполовину сгоревшей Калиновки. Ночевали они на территории МТС, в огромном, с выбитыми окнами, пустом помещении бывших ремонтных мастерских, откуда каким-то чудом успели вывезти оборудование.

Им разрешили напиться из колодца, но еды не дали. «Завтра дадут, – бодро сказал кто-то, – может, не успели сегодня, на нашего брата не напасешься...» Но их не накормили и утром.

Володя Глушко перечитал кучу книг, в частности почти всего Лондона, и теоретически хорошо представлял себе трудности, которые может преодолеть здоровый молодой человек с хорошей силой воли. Но на практике ему до сих пор ни разу не пришлось испытать чувство голода – не того голода, какой часто ощущал, торопясь домой с комсомольского собрания после шестого урока, предвкушая вареники или тарелку знаменитого мамино борща с чесноком; а настоящего, когда кусок хлеба становится вопросом жизни и смерти...

Сейчас жизнь зависела именно от этого, от куска хлеба. На третьи сутки, утром, когда их снова начали строить в колонну, двое остались лежать – ослабли ли они, захворали или просто отчаялись, никто так и не узнал. Конвоир покричал на одного, попинал в ребра, потом плюнул с досадой и в упор дал короткую очередь. Лежащий дернулся, пальцы его заскребли выгоревшую траву. Второй стал подниматься, но тут же пошатнулся и сел, уронив голову; коротко треснула вторая очередь. А в полдень пристрелили еще одного, – взятые в Калиновке были в основном обозники, народ пожилой и смиренный, они-то и начали сдавать один за другим...

Самым важным стало теперь именно это – не сдать, скрутить в тугой узел остаток сил, додержаться до конца. Кто-то сказал, что немцы решили переморить их всех по одному; Володе это показалось маловероятным, – слишком уж нелепо, проще было бы истратить несколько автоматных магазинов. Скорее, это был своего рода отбор: слабые погибнут по дороге, останутся более выносливые, более трудоспособные. Рано или поздно их разместят в каком-нибудь лагере и начнут кормить, – вот до этого и нужно додержаться...

У него не было сейчас даже ненависти к немцам, а только одно обнаженное, сжатое, как пружина, желание – выдержать наперекор всему, не потерять силы, не отстать. Сводить счета можно будет потом, сперва надо дожить до этой возможности...

На четвертый день их пригнали в Песчанокоское. Лагерь был расположен в заброшенном карьере, – смрад, колючая проволока, пулеметные вышки, в стороне несколько дощатых барачков: помещение охраны, лазарет, кухня. Кто-то из новичков спросил у старожилы насчет питания, тот усмехнулся сизыми обтянутыми губами, – жив, мол, будешь, а плясать не захочешь...

Еду привезли перед закатом солнца – подкатили по рельсам две вагонетки, до краев налитые баландой. Обезумевшие люди кинулись к вагонеткам, одну едва не опрокинули – сумели кое-как удержать в последний момент; раздатчики из пленных, стоя на рамах вагонеток, лупили черпаками по головам, по спинам, по пальцам, намертво вцепившимся в железные борта, грозили, уговаривали и матерились сорванными до невнятного сипения голосами. Постепенно удалось навести какой-то порядок, люди стали подходить по очереди, получая свою порцию кто в котелок, кто в жестянку из-под тушенки, кто просто в бережно подставленную пилотку. Немцы не вмешивались – стояли на верху отвала, покуривая, один щелкал фотоаппаратом, запасался русскими сувенирами.

Ночью Володя лежал на остывающем песке и смотрел на звезды, не узнавая их привычной геометрии. Мир, в котором он жил, стал качественно иным четыре дня назад, и он даже не понимал еще во всей полноте сущность происшедшей перемены. То, что он – вчерашний школьник – очутился на фронте, хотел быть бойцом и вместо этого стал военнопленным, само по себе еще не было качественным изменением; здесь изменились лишь внешние обстоятельства, условия.

Существеннее было то, что за четыре дня плена перевернулись все его представления о мире, о жизни, о человеке...

Как и свойственно его возрасту, Володя не особенно задумывался над подобными вещами; «философствования» он не любил, отвлеченные рассуждения в книгах обычно нагоняли на него скуку. Несмотря на это, какое-то свое мироощущение, миропонимание у него уже было. Мир представлялся ему, в общем и целом, добрым.

Разумеется, существовали и зло, и жестокость, и несправедливость; где-то в польских и румынских застенках пытали революционеров, в Германии возродили казнь топором, у нас в стране диверсанты пускали под откос пассажирские поезда и взрывали шахты. Все это было, Володя читал об этом в газетах, слышал по радио. Но все это делалось впотьмах, крадучись, все это было трусливо спрятано от людских взглядов, даже штурмовики в Моабите избивали заключенных под звуки заведенного патефона, чтобы заглушить крики; это была темная, ночная изнанка жизни, прячущаяся от дневного света. К Володе Глушко и его сверстникам жизнь была обращена другой стороной.

Так оставалось даже после двадцать второго июня. Хладнокровно обдуманное вероломство, бомбы на рассвете, брошенные, как нож в спину, – все это наполнило их сердца гневом и благородной яростью, в едином порыве бросило вчерашних десятиклассников к дверям военкоматов; но все же в их глазах это была просто еще одна война, лишь более жестокая и более несправедливая, чем другие войны. Тогда, в июне, никто из этих юношей еще не познал всей меры Зла.

Познание этой меры – опыт в высшей степени субъективный, и у каждого он проходит по-разному. Для Володи Глушко это случилось в тот момент, когда на его глазах конвоир спокойно и деловито пристрелил упавшего человека. Гораздо спокойнее, чем пристреливают больную собаку или лошадь, которая сломала ногу. Это было в полдень, на окраине какого-то хутора, и это видели все: немецкие солдаты с проходившего мимо грузовика, и пленные, и толпа хуторянок, вышедших на шоссе, чтобы перебросить в колонну чего-нибудь съестного. Спокойно и деловито убили человека и пошли дальше; без ужаса, без угрызений совести, в непоколебимом сознании собственной правоты – не безнаказанности, а именно правоты...

Потом он видел, как это повторялось не раз и не два. Во второй группе, которая слилась позже с их колонной, было много легкораненых, их вели, поддерживая с двух сторон, но они быстро теряли силы. А потом этот лагерь, зверская драка у вагонеток со свинячьим пойлом – и немец наверху, благодушно щелкающий своей «лейкой»...

Самым страшным было, пожалуй, именно это нечеловеческое спокойствие, деловитое и методичное, с каким немцы истребляли пленных. Если бы они вообще не брали в плен, прикачивали раненых тут же на поле боя и убивали всякого сдающегося, – это еще можно было бы понять, во всяком случае, объяснить; это было бы человечнее. Но в том-то и дело, что тут не было ни злобы, ни озверения рукопашной схватки, а только эта жуткая, муравьиная убежденность в том, что все дозволено, все оправдано какими-то высшими и не всегда ясными самим исполнителям соображениями, – скажем, экономической целесообразности. Или политики.

Эти соображения были высказаны и обсуждены где-то в Берлине, было принято соответствующее решение, спущены соответствующие указания. Указания шли по инстанциям ниже и ниже, пока не достигли самого низшего, исполнительского уровня; и очевидно, нигде, ни в одном из винтиков нацистского государственного аппарата, эти указания не вызвали ни сомнений, ни растерянности, ни возмущения...

Прошла неделя лагерного, ни на что не похожего существования: семь пустых дней, абсолютно пустых и в то же время переполненных неизвестностью, страхом и мыслями о еде. Никто не знал, когда будет следующая раздача баланды и будет ли она вообще (немцы, методичные во всем остальном, постоянно меняли время кормежки, возможно из каких-то «психологических» соображений; иногда вагонетки выкатывали утром, иногда – вечером, иногда не выкатывали вообще). Неизвестно было, как долго будут их держать в Песчанокоском; ходили слухи, что по мере накопления пленных будут вывозить – опять-таки неизвестно, куда именно. Кто говорил, что в Германию, на шахты, кто – на восстановительные работы здесь же, на Украине.

Все ждали какой-то сортировки, – прошел слух, что в лагерь прибудет специальная комиссия для тщательной проверки всех пленных. Командиров, евреев и политработников

обычно отделяли сразу, как только захватывалась очередная группа; но отбор производился не очень тщательно, чаще всего по внешним признакам: обмундирование, возраст, стрижка, тип лица; иногда требовали показать, ладони – есть ли мозоли. Холеных рук на фронте не было ни у кого, а гимнастерку можно было сменить; и, если рядом не оказывалось предателя, многим командирам удавалось раствориться в массе рядового состава. Ими-то и должна была заняться новая комиссия.

Володя Глушко обжился в лагере за эту неделю, насколько вообще можно обживаться в подобных местах.

Он стал понемногу обрастать хозяйством – завел себе котелок, сделанный из килограммовой жестянки с проволочной дужкой, а днем позже ему посчастливилось найти в песке алюминиевую ложку. Появились у него и знакомства.

Первые дни были для Володи особенно трудными из-за одиночества.

Обычно в плен попадали группами, до этого успев провоевать или, – поскольку воевать по-настоящему довелось далеко не всем, – хотя бы пробыть вместе какое-то время в одном подразделении; Володя же угодил к немцам один, до этого просидев двое суток под арестом,

Мысль о том, что среди захваченных в плен в Калиновке могут быть либо охранявшие его часовые, либо просто кто-нибудь, слышавший о нем, сначала сковывала его, заставляла держаться в стороне от других. Он был задержан по подозрению в дезертирстве, а сейчас, выходит, немцы его освободили...

А потом он понял, что до него никому нет дела, у людей, попавших в плен, были заботы поважнее. Тогда он осмелел и стал приглядываться к окружающим, заговаривать с ними. Постепенно у него завелись знакомства – пожилой обозник Фирсов, шумный сквернослов Лабутько – летчик, месяц назад выбросившийся из горящей «чайки» над расположением какого-то окруженного батальона и до конца дравшийся вместе с его остатками, Коля Осадчий – тихий паренек из-под Мариуполя, попавший на фронт из школы трактористов и так и не успевший сделать ни одного выстрела.

Все эти очень разные люди по-разному себя вели и по-разному относились к окружающему. Лабутько, человек деятельный и беспокойный, целый день шнырял по лагерю – заводил знакомства, прислушивался к разговорам, собирал пестрые лагерные слухи. Большую часть времени летчик кого-нибудь материл: то немцев, то наше командование, неизвестно чем смотревшее и неизвестно чем думавшее, то лагерных поваров, то тех, кто в свое время изображал будущую войну чем-то вроде боев у озера Хасан. Фирсов в таких случаях только испуганно помаргивал, Коля Осадчий отмалчивался по обыкновению, и отстаивать честь советского искусства приходилось Володе.

– И правильно делали! – орал он, выкатывая глаза. – По-вашему, лучше было заранее запугать весь народ?! По крайней мере, мы войну встретили без паники!

– Во-во, – кивал Лабутько. – А ты не помнишь, кто это собирался воевать на чужой территории, а?

– И будем!

– Будем, будем... Пока солнце взойдет, роса глаза выест! А мертвых кто воскресит? – Лабутько тоже начинал повышать голос. – Их кто теперь из земли подымет?

Володя и сам не очень хорошо понимал, почему и против чего он в таких случаях спорил. Может быть, ему действительно было обидно за книги и фильмы, вошедшие в мир его детства вместе с Чапаевым и Павкой Корчагиным; а может быть, слишком много невыносимой правды было в словах летчика, чтобы можно было согласиться с ними без спора. Ибо нет ничего горше для молодого и еще не умудренного жизнью, чем признать себя обманутым...

Поэтому его отношение к Лабутько было сложным. Володя уважал его за смелость, за неиссякаемую энергию, за то, что летчик никогда не падал духом, хотя нога заживала с трудом и, очевидно, порядком его мучила; и в то же время от разговоров с ним Володе становилось

не по себе. Проще было с Фирсовым, – тот никого не обличал, не ругался, только покряхтывал и считал, что все образуется; надо перетерпеть тут в лагере, раз уж попали, а там, глядишь, и немца взашей погонят, а там и война кончится. Обозник напоминал Володе Платона Каратаева. В книге этот персонаж раздражал и казался нелепым и никчемным, и теперь Володю удивляло, что в жизни человек каратаевской породы может оказаться таким удобным товарищем по несчастью, умеющим вовремя ободрить и утешить как-то незаметно, неизвестно даже чем...

Тихоней был и Коля Осадчий, – они с Фирсовым отлично подходили друг к другу, словно отец и сын. Правда, если фирсовское спокойствие отзывалось почти религиозным фатализмом, то комбайнер с Мариупольщины казался скорее пришибленным всем, что произошло на его глазах. Уже в плену, по пути в Песчанокоское, он видел кладбища советской военной техники, – немцы, случайно или с умыслом, гнали пленных по путям отступления одного из наших разбитых в июле мото-мехкорпусов. Заваленные горелым автомобильным ломом кюветы, брошенные тягачи, припавшие к земле туши танков с уже прорастающей сквозь рваную броню лебедой – вся эта грозная боевая техника, которой еще недавно гордились, ржавела сейчас по обочинам степных дорог, по балкам и буеракам, никому не нужный, разметенный ветром войны железный мусор...

– ...Не могу я такого бачить, – медленно говорил Осадчий Володе, лежа рядом с ним на остывающем песке, – и понять того не могу... как это так, щоб такую силу в степу побросать... У меня батько в эмтээсе работал, – я-то знаю, как это все было... хотя бы, к примеру, с запчастями. Болтом лишним было не разжиться, каждую шестеренку – як зеницу ока... А тут столько добра бросили, покидали, пожгли... було б еще в бою сгубили, а то так, стоят тягачи целенькие, новенькие, тильки що наполовину вже раскулачены. Идешь и думаешь: боже ж ты мой, ведь это все горбом наживалось, потом да слезами, я первые свои сапоги справные только и надел, як в армию прийшов...

Эти рассуждения казались Володе немного кулацкими, – сам он воспринимал поражение под иным углом, гибель материальных ценностей была в его глазах чем-то неизмеримо менее важным, нежели ущерб моральный и психологический, который это поражение за собой повлекло. Не говоря уже о гибели людей.

Вот в чем был безусловно прав Лабутько: можно отобрать назад захваченную врагом землю, заново выстроить разрушенные дома, восстановить погибшую технику, а людей уже не вернешь, не воскресишь, не поднимешь. Никогда не встанут те, чью кровь жадно и бережно, до последней капли, выпила в то лето зачугуневшая от зноя и горя украинская земля. Никогда – значит именно это: никогда. Никогда! Рано или поздно качнутся весы Справедливости, и медленно вначале, но все быстрее и быстрее пойдет вверх пустая чаша призрачных немецких побед, и остановится и покатится вспять тяжелая лавина войны, чтобы похоронить под пеплом и руинами свою колыбель – надменный город, захотевший стать столицей мира; пройдут годы, и человечество забудет имена, которые прокликает сегодня, и школьники на уроках истории будут путать Гитлера с Муссолини; но не встанут и не вернуться домой сыновья и отцы, погибшие в сорок первом. Втоптаные снарядами в искромсанную землю переднего края, расстрелянные «мессерами» на степных шляхах, сторевшие в разбомбленных эшелонах, утонувшие на переправах – все те, кто мог бы остаться в живых...

Он еще не спал, когда к нему подобрался Лабутько. Летчик прилег рядом и толкнул его локтем.

– Эй, лейтенант, – позвал он шепотом. – Спишь?

– Нет. А что?

Володя уже привык, что его называли лейтенантом – конечно, когда поблизости не было подозрительных. Кое-кто, наверное, действительно принимал его за переодетого командира – из-за длинной стрижки и «интеллигентского» обличья; он уже и не возражал, – лейтенант так

лейтенант, не спорить же с каждым. Но летчик, пожалуй, употреблял звание в ироническом смысле.

– Тс-с, – сказал Лабуцько. Они полежали, прислушались к разноголосому храпу вокруг. – Ты вот что... встань немного погода и отойди вон туда, за столбик – вроде по нужде. Понял? А после ляжешь в сторонке, я подойду. Поговорить надо.

Он тут же отвернулся и всхрапнул самым натуральным образом, с каким-то сонным позевыванием и бормотаньем. Володя полежал с минуту, гадая о возможных темах таинственного ночного разговора; потом встал, потянулся и побрел прочь, перешагивая через спящих.

Лабуцько подошел к нему минут через пятнадцать.

– Лейтенант, смываться надо отсюда к едрене-фене, – сказал он спокойно, присев рядом; сказал таким тоном, словно сообщал о намерении пойти соснуть. – Ты как, не думал насчет этого?

– Думал, конечно, – удивленно сказал Володя. – Но как смоешься?

– Как, как... Придет время – узнаешь. Ты решай заранее, понял?

– Чего ж тут решать, – сказал Володя. – Если есть возможность бежать», конечно, я ею воспользуюсь.

– Ты давай не спеши. Бежать с лагеря, это тебе не хрен собачий. Ты что думал, за проволоку выбрался и уже в безопасности? Тут, лейтенант, одно на одно выходит – сколько шансов выжить... столько и... Здесь если не подохнешь, так до конца войны просидишь в тылу. А кто сейчас убежит, тот еще до чертовой бабушки навоюется. Словом, шансов выжить здесь больше. Так ты как, а лейтенант?

– А вы как? – спросил Володя с вызовом.

– Чего я, речь о тебе. Я в лагере не останусь.

– Почему же вы думаете, что другие хотят остаться?

– А в чужую душу не залезешь, лейтенант. Что, я за тебя буду решать?

– Тут решать нечего, я уже сказал.

– Бежишь, значит?

– Ясно. А когда?

– Ишь, скорый какой! Придет время – скажу.

– Мы что, вдвоем смоемся?

– Много будешь знать – плешь вырастет, – сказал Лабуцько. – А девчата плешивых не любят. Понял? Сколько надо, столько и смоеются. Те, кому с комиссией неохота встречаться.

Володя задумался.

– Товарищ Лабуцько... Я ведь не лейтенант, вы знаете?

– Ну так что?

– Нет, я просто сейчас подумал... Может, кому-нибудь это нужнее – бежать?

– Сдрейфил уже? – насмешливо спросил летчик.

– Да нет же, – возразил Володя, не обижаясь. – Я хочу сказать – всем ведь бежать не удастся, не получится ли так, что я чье-то место займу... какого-нибудь настоящего командира с боевым опытом...

– «Место, место», – передразнил Лабуцько. – Ты шо думаешь, тебя в фаетоне отсюда повежут? Когда групповой побег, чем больше народу, тем лучше. Понял?

– Да-да, конечно, – облегченно сказал Володя. – Я просто не сообразил!

– В общем, так, – сказал Лабуцько. – То, щоб об этом не трепаться, – сам понимаешь...

– Ну еще бы!

– Придет время – скажу, а пока про это забудь. Только, лейтенант, один уговор! Передумаешь – щоб сказал заранее.

Глава 7

– Люся, что значит «замельдоваться»?

– Замельдоваться? – Людмила удивленно подняла брови. – Не знаю. Откуда ты это выкопала?

– Понимаешь... тут без тебя приходил полицейский, – сказала Таня не оборачиваясь. Она стояла у окна, внимательно следя за бегущими по стеклу дождевыми струйками. – Ну тот самый... что был на прошлой неделе у соседей... Приходит и спрашивает: «До арбайтзамту ходила?» Я говорю – нет. А он говорит: «Чтоб завтра же пошла и замельдовалась»...

Людмила развязала платок, бросила его на кровать и, не снимая пальто, подошла к печке погреть ладони.

– Ужасно холодно на улице, – сказала она спокойно. – Наверное, не сегодня завтра начнутся заморозки. А «замельдоваться» – это же с немецкого, я сначала просто не сообразила. Возвратный глагол, «sich melden» – зарегистрироваться. Эти типы ужасно любят щеголять немецкими словечками. Никуда регистрироваться я не пойду, пусть и не думают.

– А я пойду, – помолчав, сказала Таня.

– На биржу? – спросила Людмила. – Ты сошла с ума, Танька!

Таня обернулась и посмотрела на нее очень серьезно.

– Люся, ты не понимаешь, – сказала она тихо. – Это страшные люди. Мне с немцами никогда не было так страшно, как сегодня, когда я с ним говорила. Это вообще... не человек. Ты знаешь, что он мне потом сказал?

Она сделала паузу, словно не решаясь продолжать.

– Я даже тебе не хотела говорить, но лучше, чтобы ты знала. Меня страшно разозлило, каким тоном он со мной разговаривал: «...чтобы завтра же пошла!» Конечно, я дура, не стоило ему возражать, но я просто разозлилась. И говорю – «пойду, когда будет время, завтра я занята». Так он мне знаешь что на это сказал? «Ты что, говорит, московские свои правила будешь тут нам заводить? Мы тех, кто уклоняется от трудповинности, долго не уговариваем. Сама не пойдешь до арбайтзамту – отведут, только сперва у нас в шуцманшафте выдерут как сидорову козу, чтобы не ломалась другой раз. Всыпят тебе двадцать пять по голой – победишь работать как миленькая», – ты прости, но я буквально повторяю его слова...

Людмила смотрела на нее с недоверчивым выражением.

– Однако, – сказала она, растерянно усмехнувшись, – что за хамов они понабрали в эту свою полицию! Но ты что, всерьез испугалась? Танюша, надо же обладать чувством юмора, согласишься! Если верить, что тебя в наше время могут взять и... и выпороть за то, что ты где-то там не зарегистрировалась, то тогда вообще можно допустить что угодно...

– А я что угодно и допускаю, – упрямо сказала Таня, глядя в сторону. – Это не «наше время», пойми ты, сейчас время фашистов и всех этих местных подонков. А они могут делать что угодно, Люся, абсолютно все...

– У тебя просто нервы не в порядке, – сказала Людмила снисходительно. – Теоретически это так, а на практике все всегда получается немножко иначе. В конце концов, тех немецких зверств, о которых у нас столько писали, мы с тобой в общем-то не видели. Вспомни: за эти два месяца на наших глазах еще никого не повесили и не изнасиловали...

– Просто нам повезло, попадались порядочные немцы, а в других местах было всякое, я уверена. Не хватает еще, чтобы ты начала защищать немцев!

– Глупости какие, ну кто их защищает? Нужно смотреть на вещи реально, вот и все. Мы наслушались всяких ужасов, вот тебе и мерещится.

– Мне ничего не мерещится, – очень серьезно сказала Таня, – мерещится сейчас тебе, Люся. Я тебе говорю – я видела этого полицая, слышала, каким тоном он все это говорил. Такие

люди, предатели из наших, хуже немцев, пойми ты! Те хоть бывают всякие, мы-то с тобой видели, в общем, только солдат... Но наши, которые пошли к ним в полицию, – это совсем другое. Понимаешь? Они хуже всяких зверей, потому что звери не бывают предателями.

– Ну уж, хуже зверей. У тебя страсть – все преувеличивать. Это просто мелкое жулье, уголовники, которые отработывают немцам за то, что те их освободили. По-моему, они сами не заинтересованы в том, чтобы озлоблять против себя население. Они ведь прекрасно знают, что рано или поздно наши вернутся! А у тебя получается, что страшнее кошки зверя нет...

Людмила улыбнулась и, подойдя к Тане, тряхнула ее за плечи.

– Трусишка ты, Танька, просто безобразие. Давай-ка лучше обедать, я такого масла принесла! Почти целую бутылку, только пришлось отдать в придачу и варежки – тетке не понравилась штопка...

– Тебя надули, – мрачно сказала Таня. – Штотка ведь была настоящая шерстяная.

– Что ж делать, такие уж мы с тобой коммерсантки. Вспомни, как ты меняла свой шарфик!

Обе рассмеялись. Таня начала накрывать на стол.

– Глупость мы делаем, что меняем сейчас все теплое, – вздохнула она. – Зима на носу....

– Поэтому-то теплое сейчас и идет.

– Да, но мы сами? Ты уверена, что наши вернутся до наступления холодов? Говорят, на арбайтзамте...

– По-русски это называется «биржа труда».

– Ох, эти немецкие словечки, так сами и лезут, – с досадой сказала Таня. – У нас уже сложился какой-то оккупационный жаргон – поди послушай, как говорят на толкучке... Так я хотела сказать, что с биржи сейчас иногда посылают в колхоз – что-то убирать, что ли, хотя я не представляю себе, что можно убирать в конце октября. Но ведь это прежде всего грязь и холод! А мы беззаботно проедаем теплые вещи. Вот уж правда – ходит птичка весело по тропинке бедствий...

– Не предвидя от сего никаких последствий, – закончила Людмила. – Поэтому-то я и не хочу идти на биржу, Танюша. Все-таки подальше от этой тропинки.

С минуту Таня сосредоточенно, морщась и дую на пальцы, облупливая сваренную в мундире картофелину.

– Ты стала какой-то легкомысленной, – сказала она наконец. – Я тебя просто не узнаю.

– Естественная защита, моя милая.

– Какая же это защита... Если хочешь знать, так поступает знаешь кто?

– Страус, очевидно.

– Угу. Он самый.

– Удивительно, нам в голову приходят одинаковые мысли. Как только ты сказала о птичке, ходящей весело, мне сразу подумалось о страусе. Но я вовсе не страус, Танюша, тут ты ошибаешься.

– Страус, и самый настоящий. И вообще ты непоследовательна! Если ты такая храбрая, почему же тогда боишься идти регистрироваться на биржу?

– Мне противно туда идти. И противно работать на немцев, понимаешь?

– Где мне это понять, – обиженно отозвалась Таня. – Лично я ужасно хочу на них работать. Прямо умираю!

– Ты не хочешь, конечно. Но ты боишься послушаться, тебе велели – и ты пойдешь.

– Да, пойду. Именно потому, что боюсь! Я никакая не героиня!.. Люся, давай серьезно – представь себе на минуту, что этот полицейский не шутил и не запугивал. Ну, просто представь себе это. Если бы тебя, если бы с тобой такое сделали, ты могла бы продолжать жить? Могла бы? Я, например, знаю точно, что не могла б. Просто бы не могла! И я совершенно не собираюсь рисковать неизвестно из-за чего. Действительно, чего ради? Потому что, видите ли, «противно

работать на немцев!»! Подумаешь, какую ответственную работу они нам предложат! Что они меня – надсмотрщицей сделают? Вот от этого я бы отказалась...

– А потом согласилась бы, если бы тебе пригрозили.

– Нет, потому что должны быть, конечно, какие-то границы. Я не говорю, что пошла бы из страха буквально на все! Но пока от нас ничего такого и не требуют. Скорее всего, пошлют разбирать развалины. Это ведь все равно нужно делать, ты согласна? Рано или поздно придется их разбирать. Почему же другие это делают, а ты не можешь? Половина города работает на немцев! Водопровод, электростанцию вот пустили – по-твоему, там все только предатели... Или трусы, да? А там просто люди. И у них семьи, и детей нужно кормить, и я их совершенно за это не осуждаю...

Людмила пожала плечами.

– Танюша, я тоже абсолютно никого не осуждаю. Каждый поступает, как ему подсказывает совесть.

– Вот как! – Таня даже подскочила от возмущения. – Все вокруг бессовестные, ты даже не достаиваешь их своим осуждением, ты до них не снисходишь, – еще бы, только ты одна стоишь на недостижимой высоте. Тебе противно работать на немцев! А всем остальным приятно! Все остальные делают это с восторгом!

Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Люда посмотрела ей вслед, вздохнула и продолжала есть. Через минуту Таня вернулась.

– Я еще забыла главное! – закричала она. – Как ты думаешь, чем мы будем питаться эту зиму? Ты думаешь, наших роскошных туалетов хватит надолго? Ты даже не страус, ты просто курица!

На другой день, после обеда, Таня объявила, что идет на биржу. Людмила вытащила из шкафа «Пармскую обитель» и демонстративно завалилась на диван, пожелав подруге ни пуха ни пера,

– К черту, к черту, – сказала Таня. – А ты, оказывается, любительница острых переживаний, я и не знала.

– Почему острых?

Будешь теперь каждый день гадать, придут за тобой из шуцманшафта или не придут...

– Не придут, – улыбнулась Люда, – очень я им нужна. Запри калитку, когда будешь выходить.

Ей в самом деле совсем не было страшно, она не особенно верила во все эти полицейские страсти-мордасти. Впрочем, после вчерашнего спора не осталось и особенных возражений против того, чтобы сходить на биржу; но сдать сразу ей уже просто не хотелось. Сегодня вдобавок она и чувствовала себя не особенно хорошо. Пусть сходит сначала Татьяна, на разведку.

Вернулась разведчица поздно, когда уже стемнело.

– Ну, я могла бы зарабатывать гаданьем, – сказала она, входя в комнату. – Угадай, куда меня послали!

– Судя по первой фразе, разбирать развалины.

– Точно, – кивнула Таня. – На площадь Урицкого. знаешь, там куча ребят из нашей школы! Будем работать все вместе, представляешь, как здорово?

– Не говори, всю жизнь мечтала именно об этом. Холодно на улице?

– Бр-р-р! Ты мне скажи, в чем я пойду работать? Вот бы достать ватник...

– Чего захотела, – сказала Люда. – Ватник сейчас ценится дороже, чем до войны беличья шубка. А как там... ну, на этой бирже?

– О, я придумала! – Таня щелкнула пальцами – меня же есть кожаная куртка, меховая, в ней как раз удобно и тепло, верно? А на бирже, что ж, ничего особенного. Есть никого не едят.

Меня только спросили, не хочу ли я поехать «до Великой Неметчины». Я говорю – господи, еще чего! А немка так на меня посмотрела... – Таня поджала губы и изобразила, как посмотрела на нее немка.

– Там что, сидят настоящие немки?

– Одна, очевидно, начальница, на ней такая нарядная форма – вся в золоте. Немка мне ужасно не понравилась, у нее странные глаза. Слушай, ты завтра же пойдешь и тоже зарегистрируешься.

– Почему именно завтра? Я себя плохо чувствую.

– Ну хорошо, послезавтра. Люська, ну перестань ты дурить, ведь это же плохо кончится! Дождешься, то тебя действительно возьмут и вздуют. Вот хорошо будет, правда? Ты глупая, пошли бы сегодня вместе – месте бы и на работу попали, а теперь куда еще тебя пошлют... Кстати, ты знаешь, как теперь называется площадь Урицкого? Хорст-Вессель-плац, во как! Кто он был, этот Хорст Вессель?

– Понятия не имею. А ты почему такая веселая? Таня подумала и пожала плечами.

– Не знаю, просто у меня сейчас хорошее настроение. Знаешь, я очень боялась туда идти, а теперь чувствую такое облегчение... И потом, ты скажешь, что я нравственный урод или еще что-нибудь, но я рада, что буду работать. Я больше так не могу – сидеть в четырех стенах и дрожать от страха. Я хоть буду вместе с людьми... Ты не обижайся, Люсенька, но ты ведь прекрасно понимаешь: мы с тобой вместе, но все равно, в общем-то, в одиночестве каком-то, – я не могу так больше! И потом, я тебе говорила, работа есть работа, и она всегда полезна, для кого бы ни делалась...

– Глупости ты несешь такие, что уши вянут, – сказала Людмила.

– Ну хорошо, согласна – не всякая работа. Но убирать развалины? Не знаю, по-моему, это даже приятно. Рано или поздно кому-то ведь придется это делать. Знаешь, я, пожалуй, надену завтра лыжные штаны, или, подожди, у меня где-то комбинезон должен быть, что нам в ПВО выдали, помнишь? Правильно, а поверх – куртку, вот и будет тепло.

– Смотри, чтобы у тебя куртку не забрали, она ведь, кажется, военного образца...

– А, кому она понадобится!

Проснувшись еще затемно, Таня вспомнила: сегодня на работу. Вспомнила с тревожной какой-то досадой, вчерашнего энтузиазма уже не было. Ей даже стало жаль кончившейся беспечной жизни, когда можно было подремать утром в свое удовольствие, поплотнее закутавшись в одеяло и выставив наружу только нос. На улице, наверное, холодище... Сегодня ведь уже двадцать восьмое, через десять дней праздник. Интересно, будет ли на Красной площади парад. Дело, конечно, не в холоде, – Сереже и Дядесаше на фронте еще холоднее. Дело в том, что она идет работать к немцам. Может быть, Люся все-таки права... а сама она просто жалкая трусиха? Может быть, именно с этого и начинается предательство?

Сережа, милый, сказала она, доброе утро, мой хороший. Как прошла ночь – тихо, спокойно? Ночью, если верить сводкам, у вас там обычно ничего не происходит. Какие-нибудь поиски разведчиков, да? Как мне нужно с тобой посоветоваться, Сережа, я совершенно не представляю себе, что бы ты мне сейчас посоветовал. Я вообще совершенно не представляю тебя здесь, в оккупации, – мне так тяжело и так отраднo, что тебя здесь нет, что ты сейчас там – с Дядейсашей, со всеми. Дома. На Родине. Может быть, даже в Москве? Бывает ведь так: пошлют за чем-нибудь, правда? Если ты в Москве – поклонись от меня Арбату, Сережа. И посоветуй мне, что делать, ну услышь, ну ответь хоть что-нибудь!

Ты тоже считаешь, что я не должна была идти работать на немцев? Но ведь мне нельзя иначе, Сережа, ты ведь понимаешь, у тебя есть оружие, ты можешь защищаться, у нас здесь нет ничего; и что я могла ответить этому полицейскому? Ой, Сережа, если бы ты слышал, что он мне сказал, если бы только ты его слышал! Так неужели я сейчас виновата в том, что зарегистрировалась на этой бирже и получила назначение...

– Таня!.. Танюш, ты что, плачешь? – услышался из темноты голос Людмилы.

– И не думала вовсе, я собиралась чихнуть... а ты меня разбудила. Который час?

Людмила включила свет в изголовье:

– Спи, еще совсем рано, нет семи...

– Ничего себе рано, в восемь я должна быть на работе!

– Верно, я ведь совсем забыла... – Людмила сонно зевнула. – Ты все приготовила? Одевайся пока, сейчас я растоплю печку...

Невыспавшаяся, в подавленном настроении, Таня заставила себя выйти в сад и помыться там под краном, чтобы ободриться немного. Но это помогло мало; таким мрачным было, ледяное осеннее утро, что ей захотелось скулить от тоски. Едва удерживая слезы, она вернулась в комнату, где уже потрескивали в печи разгорающиеся дрова.

– Господи, Люська, как я тебе сейчас завидую! – сказала она, натягивая комбинезон. – Просто самой черной завистью!

– Неизвестно, кто кому будет завидовать завтра, – вздохнула Люда. – Возьмут меня и погонят куда-нибудь в колхоз... Это будет почище, чем развалины.

– Ты все-таки решила идти на биржу?

– Да, придется. Чего тянуть, все равно никуда не денешься...

Они молча позавтракали остатками вчерашних кукурузных лепешек, запили их горько-сладковатым от сахара кипятком. Потом Таня посмотрела на часы и вздохнула.

– Пора, пора, – сказала она с сожалением, нехотя встав из-за стола и берясь за куртку, – на шее паруса сидит уж ветер... Интересно, что у них полагается за опоздание на работу, может быть, тоже порка? Представляешь, публично, на площади Урицкого, прошу прощения, на Хорст-Вессель-плац, Зрелище, а? Ох и угораздило же нас, Людмила свет Алексевна родиться в столь бурную историческую эпоху!

– Помнишь, у Аграновичей до войны, – усмехнулась Людмила, – Борис Исаакович стишки принес, там была такая строчка: «Чем эпоха интересней для историков, тем она для современников печальнее»...

– Вот именно, – сказала Таня. – Золотые слова! Когда она вошла во двор городской управы, куда велено было явиться назначенным на работы по расчистке, все уже собрались, часы показывали четверть девятого, но никто из начальства еще не появился. Хваленой немецкой организованности что-то пока не было видно. Таня успела потолкаться по двору, поговорить с несколькими знакомыми по школе, порасспросить новости; наконец из дверей показалась небритая личность в опереточной ярко-синей шинели с желтыми кантами. Людей построили, полицай выгасил из-за обшлага измятый лист и проверил присутствующих по списку, что заняло у него почти полчаса, – с грамотой, видно, он был не в ладах.

– Зараз получите струмент! – гаркнул он, кое-как покончив с перекличкой. – Каковой есть собственность германской армии! И хто его загубит альбо зруйнует, будет покаран по усей строгости законов военного часу!

Полицай погрозил пальцем и прохрипел зловеще: «У-у, хвармацевты!» Только услышав это странное обращение, все вдруг догадались, что блюститель «нового порядка» попросту пьян.

Сунув список за обшлаг, полицай оглушительно отхаркался, плюнул и скомандовал «вольно». Роздали инструмент – новенькие немецкие кирки и заступы; раздавали не глядя, кому что достанется. Тане сунули кирку, она с недоумением повертела ее в руках и взвалила на плечо.

– Слухай команду! – снова заорал полицейский. – Зараз пийдемо вкалывать, и шоб ниякий сукин сын не утик и не сховався гдесь у подворотне. Ясно? Ось так. Шагом арш, хвармацевска часть!

Пока переводчица, морща от усилия лоб и шевеля губами, переписывала данные Людминого паспорта в какую-то обширную ведомость, из задней двери вышла высокая блондинка в кителе темно-желтого цвета, перетянутом коричневым широким поясом с круглой золотой пряжкой. Бросив взгляд на очередь за барьером (за Людмилой стояло еще человек десять), немка посмотрела на часы и сказала переводчице:

– Поторопитесь, Анни, рабочие часы кончаются, а людей еще много. Почему-то все непременно приходят к самому концу дня...

Она закурила, пощелкав маленькой блестящей зажигалкой, и остановилась за плечом переводчицы.

– Удивительно, – сказала она, глядя в ведомость. – Просто удивительно! Все учащиеся! Все только учащиеся! Кто, наконец, работал в этом городе? Ничего не понимаю. И брюнетка – тоже учащаяся?

Немка подошла к барьеру и бесцеремонно уставилась на Людмилу.

– Хм, эту хоть можно было бы принять за девушку из хорошей семьи, если бы не одежда... Впрочем, здесь все ходят в отрепьях. Анни, спросите, чем занимаются ее родители.

Переводчица оторвалась от своей ведомости:

– Фрау начальница спрашивает...

– Я слышала, что спросила фрау начальница, – сказала Людмила. Обернувшись к немке, она посмотрела ей прямо в глаза. – Моя мама имеет ученую степень доктора физико-математических наук, она занимается научными исследованиями в области высокочастотной электротехнологии. Сейчас она в эвакуации. Что еще угодно вам знать?

– Вот как, – сказала немка с любопытством. – Так ты живешь одна. Однако ты хорошо говоришь по-немецки, поздравляю. В твоей семье много немецкой крови?

– Ни капли. Немецкий я учила в школе, как и все.

– Как и все, – засмеялась немка. – Бог мой, из всех этих ваших «учащихся» не наберется и десяти процентов людей, умеющих правильно построить простую фразу... Наша Анни тоже учила, не правда ли, Анни?

Переводчица натянуто улыбнулась и бросила на Людмилу злобный взгляд.

– Ну хорошо, – сказала фрау начальница и направилась к себе. – Когда будет готово удостоверение этой девушки, пусть зайдет ко мне...

Людмила еще не успела осмыслить случившегося, но чувствовала, что произошло что-то очень нехорошее. Ей стало панически страшно: уйти уже нельзя, паспорт лежит на столе у переводчицы, теперь не спрячешься, не отсидишься дома за закрытыми ставнями. И что ее дернуло за язык!

– С коридора вторая дверь направо, – сказала переводчица, отдавая ей документы. – Ноги только вытри!

После замызанного помещения биржи, украшенного лишь соблазнительно яркими плакатами о счастливой жизни украинских девчат в «Великой Германии», кабинет фрау начальницы поразил Людмилу почти будуарным уютом. Тяжелые бархатные портьеры, ковер во весь пол, даже шкура белого медведя лежала перед диваном, – таких кабинетов ей видеть еще не приходилось. В углу тускло рдел раскаленными спиралями электрический камин, в комнате было очень тепло и пахло сигаретным дымом, духами и кофе. Над письменным столом висел большой поясной портрет – фюрер, в картинно накинута на плечи шинели, с сердито поджатыми губами, вперила орлиный взор в одному ему ведомые дали ослепительного германского будущего. Людмила положила документы перед фрау начальницей.

– Раздевайся, – сказала та. – Пальто повесь вон туда, – она указала на оленьи рога в углу. – Надеюсь, у тебя нет насекомых? Раздевайся и садись, я хочу с тобой поговорить.

Поколебавшись секунду, Людмила сняла пальто и присела на край дивана.

– Что у тебя за странное имя? – спросила фрау начальница, разглядывая регистрационное удостоверение. – Люд-ми-ла? Странно, очень странно. Я вообще знаю русские имена; Катя – это Катарина, Манья – Мари...

– Людмила – старославянское имя.

– Ах так... Оно неблагозвучно, я буду звать тебя Лотта. Ты куришь?

– Нет.

– Это хорошо. А фамилия почти немецкая – Земцов. В Берлине у меня есть подруга, урожденная фон Зельцов. Не может быть, чтобы в твоём роду не было немцев; скорее всего, это от тебя просто скрывали. Хочешь чашечку настоящего кофе?

– Нет.

Фрау начальница высоко подняла брови:

– Ты отказываешься от настоящего кофе? Может быть, ты не знаешь, что это такое? Комиссары давали вам настоящий кофе?

– Я знаю, что такое настоящий кофе, – тихо ответила Людмила не поднимая глаз. – Я его не пью, потому что мне вредно.

– Ах так... А то я уже решила, что ты не хочешь принять угощение от меня! Я надеюсь, мы будем симпатичны друг другу, Лотта, в противном случае трудно работать вместе...

– Вместе?

– О да. – Фрау начальница поднялась из-за стола и, пройдясь по комнате, села на диван рядом с Людмилой. – Я решила взять тебя к себе, старшей переводчицей, в сущности – секретарем. Мне дали таких безмозглых дур... Ты видела Анни – это малограмотная баба, которая просто из кожи лезет, чтобы никто не усомнился в её немецком происхождении... А оно, кстати, весьма сомнительно. Утверждает, что её родители приехали из Германии перед первой мировой войной, но кто может это проверить? Скажу откровенно, Лотта, мне понравилось, что ты не подхватила приманку, которую я тебе бросила, когда спросила о немецкой крови в твоей семье. Бог мой, с таким знанием языка ты могла бы выдавать себя за чистокровную немку! В мире так мало честных людей, Лотта, что невольно обращаешь внимание на малейшее проявление бескорыстия. Сейчас, когда фюрер привел Германию к величайшему триумфу, находится слишком много охотников хотя бы подержаться рукой за триумфальную колесницу...

Фрау начальница покачала головой и взяла со столика початую плитку шоколада в разорванной станиолевой обертке.

– Ты не куришь, не пьешь кофе, я уж не знаю, чем тебя угостить, – сказала она, протягивая плитку Людмиле. – Возьми хоть это, мне прислали из Брюсселя...

– Но, фрау...

– Меня зовут Марго Винкельман. Бери же! Людмила в полной растерянности отломала маленький кусочек.

– Фрау Винкельман, – сказала она, – я не... собиралась работать переводчицей и...

Естественно, ты не собиралась! Ты, несомненно, ожидала, что тебя пошлют на грязную, тяжелую работу, не так ли? Убирать в казармах, или расчищать улицы от развалин, или в крайнем случае куда-нибудь на кухню? О да, к сожалению, большинству девушек приходится идти именно туда. Но я объяснила тебе, почему избрала для тебя другое. Ты честная девушка, и кроме того... я очень люблю все красивое, понимаешь ли, Лотта?

Фрау Винкельман протянула руку и кончиками пальцев легко провела по Людмилиной щеке.

– Ты похожа на итальянку... Тебе говорили, что ты красива? Несомненно, и не один раз. У тебя много поклонников? Или, может быть... ты не любишь общества молодых людей? А я люблю, когда меня окружают красивые предметы, красивые люди...

– Но я не могу быть переводчицей, фрау Винкельман! – воскликнула Людмила уже в панике. – Прошу вас, пошлите меня на общие работы!

– Тебя – на общие работы? Глупая, – фрау Винкельман снисходительно потрепала ее по щеке. – Ты будешь работать здесь – в тепле, в комфорте... Что тебя смущает?

Их взгляды встретились на миг, и Людмиле стало совсем не по себе; какие странные у фрау Винкельман глаза, Таня права, очень странные, но не поймешь, в чем дело. Очень неприятный какой-то взгляд.

– ... Ты боишься, что скажут твои соотечественники? Какое тебе до них дело, война окончится, самое позднее, через две недели, как только фюрер вступит в Москву... И потом, ты вообще отсюда уедешь, я покажу тебе Европу, Италию... Тебе никто не говорил, что ты похожа на итальянку? Ты мне напоминаешь один портрет, который я видела в прошлом году во Флоренции...

Людмила встала с колотящимся от непонятного испуга сердцем и сделала шаг к вешалке.

– Я не буду у вас работать, – сказала она едва слышно, берясь за пальто. – Ни за что...

Фрау Винкельман, не вставая с дивана, смотрела на нее своим странным взглядом, с еще более странной усмешкой.

– Что ж, ступай, – сказала она. – Документы на столе.

Людмила оделась, взяла со стола паспорт и регистрационное удостоверение. Графа о назначении на работу осталась незаполненной. Людмила нерешительно повертела карточку в пальцах.

– Куда же мне идти работать? – спросила она тихо.

– Сюда, – сказала фрау Винкельман и для пущей наглядности указала пальцем на свой письменный стол. – Ровно через неделю. Ты поняла? Во вторник четвертого ноября, к девяти утра.

– Я сюда не приду, фрау Винкельман.

– Как угодно, Лотта. Я никого ни к чему не принуждаю. Подумай, еще целая неделя в твоём распоряжении. Ты взрослая девушка и можешь сама решать свою судьбу. И разумеется, отвечать за последствия. Не так ли?

Из здания областного совета профсоюзов, где теперь помещалась биржа труда, Людмила вышла с совершенно определенным ощущением, что для нее все кончено. Она не знала, в какой форме придет беда, что придумает за эту неделю фрау Винкельман, но что странная начальница биржи не откажется так просто от своего каприза – в этом можно было не сомневаться. Достаточно вспомнить ее глаза.

Она долго ходила по улицам, не решаясь вернуться домой; мысль о том, что придется что-то рассказать Тане, была для нее невыносима. На вокзальной площади она остановилась – кругом было пусто и совсем тихо, скелет трамвайного вагона лежал на боку перед уцелевшими колоннами вокзала, за которыми, над грудой рухнувших перекрытий, тускло угасало серое октябрьское небо. Где-то на развалинах ветер погромыхивал листом кровельного железа. Осторожно, вкрадчиво у нее в голове шевельнулась мысль о самоубийстве. О покое. О мире. Об освобождении.

Глава 8

Основное он узнал от соседей, а дальше расспрашивать не стал. Может быть потому, что весь сразу как-то одеревенел, его и не тянуло узнать больше. Да и что можно было еще узнать, какую-нибудь лишнюю страшную подробность?

Он стоял на краю воронки, ничего не испытывая. Бывают известия, которые не воспринимаются сразу. Понимать и чувствовать начинаешь только потом – постепенно, медленно-медленно. Вроде как когда возвращается чувствительность после местного обезболивания. Кроме того, есть вещи, в которые вообще трудно поверить до конца.

Он стоял на краю воронки, было очень тихо, первый снег беззвучно ложился на черную землю. Это называется – человек вернулся домой. Нет, просто не верится... чтобы так, сразу, чуть ли не первой бомбой...

Потом он сидел в тесной и душной кухоньке у соседки, молчал, курил и не отрываясь смотрел в маленькое, слезящееся от пара окно. Соседка была занят нечего, – все знают, что он тут жил и что был мобилизован на окопы. Пришлым, кого никто не знает, – тем труднее, на тех в полиции смотрят косо. А местным документы выдают легко, надо только уметь сунуть. Ну, муж это умеет, у него всяду знакомства. Сейчас он придет с работы, тогда обо всем и поговорят.

– Спасибо, – сказал Володя, – я зайду... попозже.

Он встал и вышел не прощаясь. В калитке столкнулся с девушкой и, только пройдя мимо, вспомнил, что это дочь соседки. Он чувствовал, что та остановилась и смотрит ему вслед. Конечно, это та самая Верочка. Она ему нравилась когда-то. Давным-давно, до войны. Прошлым летом. У них был большой огород, мама часто просила его: «Сбегай к Опанасенкам за лучком». Все еще ничего не понимая, он остановился и долго глядел через дорогу. Забор уцелел. А покрасить его он так и не собрался, мама все говорила: «Ну когда ты соберешься, стыдно перед людьми...»

Он шел долго, сам не зная куда. На углу проспекта Фрунзе ему встретился парный патруль: ослепительно начищенные сапоги, туго охватывающие подбородок ремешки касок, поверх шинели – под воротником – маленький, вроде детского слюнявчика, металлический полукруглый щиток на цепочке, с кованой готической вязью букв «Feldgendarmarie». Володя машинально посторонился, шагнул с тротуара. Один из жандармов скользнул по нему равнодушным взглядом. Этим опасаться не приходилось, он уже знал, что фельджандармерия проверкой документов у прохожих не занимается. Черную работу делает местная «допомоговая полиция». Но разумеется, можно вызвать подозрение и у жандарма. Володе вдруг почти захотелось, чтобы патрульный окликнул его и потребовал удостоверение личности. Может, так проще. Слишком уж много на него свалилось за это короткое время. Лагерь, побег, два месяца скитаний по селам и наконец это, сегодняшнее, еще не осознанное до конца. Может быть, действительно лучше уж сразу...

Обернувшись, он долго глядел вслед жандармам, – две одинаковые ритмично покачивающиеся спины, туго обтянутые серо-зеленым серебристым сукном, туго перечеркнутые черными ремнями. Нет, черта с два, так просто сейчас эти вопросы не решаются...

Так просто это не решается, повторял он, глядя на траурное полотнище флага, неподвижно обвисшее с горизонтального флагштока над входом в комендатуру. Чтобы умереть – не нужно было бежать из Песчанокопского. Умереть можно было и там, причем гораздо спокойнее, Лабутько был прав. Бежали они совсем для другого.

Здание комендатуры было на той стороне проспекта, чуть наискось. Огромное кроваво-красное полотнище, перекрещенное черным и белым, со свастикой посередине и Железным крестом в углу у дверка, часовые на деревянных решеточках по обеим сторонам двери,

вереница серых машин перед подъездом. Почти каждая – с зачехленным флажком на крыле. Очевидно, какое-то совещание, если понаехало столько начальства. Достать штук пять гранат, лучше противотанковых, и прямо отсюда, через улицу... Дождаться, пока выйдет кто-нибудь поважнее, и целой связкой. Хотя противотанковые – очень тяжелые, связку не докинешь. Хватит и одной. А если «феньки», то можно связать.

Да, это осуществимо, если хорошо обдумать. У немцев как-то странно – жестокость сочетается с беспечностью. Немец может войти в дом и повесить автомат на вешалку, у себя за спиной. Или вот здесь – проход мимо комендатуры не закрыт; конечно, если будешь торчать, приглядываться, то наверняка заберут. Но просто пройти мимо... в точно рассчитанную минуту, скажем. Это все можно рассчитать, подготовить. Как охотились, например, за Александром Вторым! Впрочем, там была группа, – в одиночку ничего бы не получилось...

В одиночку можно только умереть. Убить какого-нибудь важного типа и погибнуть самому. Но даже степень важности не так просто определить без помощников, без правильно поставленной службы наблюдения. Чего захотел – «служба наблюдения»! Это уже организация, целое организованное подполье...

Из подъезда комендатуры вышли трое; часовые взяли на караул. Пока офицеры усаживались, водитель выскочил и сдернул чехол с металлического флажка, флажок оказался разделенным на чередующиеся белые и красные квадраты, с какой-то эмблемой. Володя проводил прищуренными глазами низкую серую машину. Что, например, означает такой флажок? Это все нужно знать, если не хочешь бороться вслепую. А вслепую бороться нельзя, это и глупо, и бессмысленно, и безрезультатно. Но где взять организацию?

Люди в большинстве запуганы. Те, по крайней мере, с кем ему приходилось встречаться за время своих скитаний. Конечно, в городе положение может быть совсем другим, до сих пор он бывал только в селах. Возможно, по одним селянам судить и нельзя...

Во всяком случае, в Энске несомненно должно быть иначе. Надо только оглядеться, присмотреться к людям, разыскать знакомых. Не может быть, чтобы все были запуганы до полусмерти. Рано или поздно организация станет возможной. Да, но «поздно» – это тоже не выход...

Он шел по проспекту Фрунзе, удаляясь от комендатуры, и думал обо всем этом озабоченно и деловито, словно прикидывая возможные решения интересной математической задачи. Ему было очень важно не думать сейчас о том, что он узнал там, на Подгорной; думать о том было просто нельзя, – он уже начинал это чувствовать, угадывать инстинктом самосохранения,

Он дошел до центра, постоял на углу бульвара Котовского. Унылый румынский обоз тащился по бульвару мимо заснеженных развалин. На козлах высоких каруц, напоминающих цыганские кибитки, сидели нахохлившиеся небритые солдаты в бараньих шапках и жеваных грязных шинелях цвета хаки. Один, соскочив с повозки, подбежал к Володе, воровато оглядываясь, расстегнул подсумок – там были аккуратно уложены куски мыла, пестрые пакетики анилиновых красок. Володя отрицательно мотнул головой, румын начал соблазнять его иголками, камешками для зажигалок. Из-за угла показался немецкий офицер, – незадачливый коммерсант выругался и побежал догонять своих.

От дома, где когда-то был магазин канцтоваров, уцелел один нижний этаж, магазинчик превратился в кафе с вывеской на двух языках. Здание обкома было разрушено почти полностью, дом напротив, где когда-то жила Николаева, зиял рваными дырами оконных проемов. Впрочем, некоторые были кое-как заделаны досками и фанерой, – очевидно, там еще жили. Николаева-то, конечно, эвакуировалась... если осталась жива. Могла и погибнуть. Как разбит центр, это же что-то потрясающее...

Привычная ассоциация напомнила ему о Людмиле. Пушкинская отсюда недалеко, можно сходить – на всякий случай. Хотя Земцевы тоже должны быть в эвакуации. Может, в их доме

поселился кто-нибудь из общих знакомых. Кстати, ему самому тоже надо теперь думать насчет жилья...

Володя почувствовал вдруг страшную, смертельную усталость, какой не испытывал ни там, в плену, ни даже после побега – в ту ночь, когда тащил на себе истекающего кровью Лабутько. Он отошел к груде запорошенных снегом обломков и сел на скрученную двутавровую балку. Снег продолжал падать, теперь все гуще и гуще, и бульвар становился каким-то необычно тихим, словно укутанным в вату. Движения здесь почти не было, – немцы предпочитали ездить по другим улицам, более просторным и менее загроможденным развалинами.

Володя вытащил кисет, зажигалку, многократно сложенную и потершуюся в кармане страничку «Дойче-Украинэ цейтунг». «Зачем, собственно, я сюда пришел? – подумал он устало, затягиваясь горьким и едким дымом самосада. – Хожу полдня, и совершенно без толку. Надо было пойти к Лисиченко, они живут недалеко. От Иры можно узнать об остальных. Если, конечно, они не эвакуировались. Где работал ее отец? Кажется, на Оптическом. Тогда, возможно, тоже уехали. А впрочем, как знать... Опанасенко говорила, что вообще эвакуироваться не смог никто. Странно – не успели, что ли...»

Мимо прошла группа летчиков. Молодые парни, веселые, с виду добродушные, они громко обсуждали на ходу какое-то спортивное событие, смеясь и перебивая друг друга. Люди как люди, если взглянуть со стороны. Кто-то из них три месяца назад сбросил бомбу, которая разорвалась там, на Подгорном спуске. Очень может быть, если бы ему сказали, что его бомба случайно разрушила не казарму и не склад боеприпасов, а маленький домишко, в котором в тот момент находилась женщина и ее двое детей – девочка двенадцати лет и мальчик шести, – он был бы искренне огорчен. Я тоже буду искренне огорчен, если случайно убью не убежденного гитлеровца, не члена национал-социалистической партии с тысяча девятьсот двадцать третьего года, а обычного немецкого парня, надевшего нацистскую форму только потому, что год его рождения был указан в мобилизационном приказе. Мне будет искренне жаль, если случится именно так и я об этом узнаю и найду время подумать над таким несчастливым совпадением. Но думать я не стану. Мобилизованные или добровольцы, они убивают нас не задумываясь.

Он докурил сигарку, не трогаясь с места, оцепенело следя за медленным полетом снежинок, потом встал и побрел дальше. Толстые пучки разноцветных проводов, подвязанные немецкими связистами к столбам и деревьям, бежали вдоль тротуаров, на перекрестках топорщились в разные стороны аккуратные дощечки-стрелы – белые, желтые, синие – с загадочными шифрами частей и учреждений; в большом саду биологического института на улице Коцюбинского стояли зенитки.

Странно, он до сих пор почему-то никак не мог представить себе, как выглядит оккупированный Энск. Вот, смотри. Теперь ты это видишь.

Она не узнала его в первый момент, и не только из-за одежды, хотя и одежда сама по себе могла ввести в заблуждение кого угодно (замасленный, латаный-перелатаный ватник, немислимые остатки какого-то древнего треуха на голове и подвязанные проводом разбитые сапоги). Очень уж другим было его лицо, – перед нею стоял совсем не тот «романтик» Глушко, которого она в последний раз видела три месяца назад в Семихатке.

– Володя, – ахнула она, отступив на шаг и поднося ладонь к щеке. – Откуда ты взялся?

Он заметил и тотчас же правильно истолковал мгновенно промелькнувшее в ее широко распахнутых глазах выражение ужаса.

– Не бойся, Николаева, – сказал он спокойно, – мне уже сказали, так что ты от этого избавлена. Как ты догадываешься, я уже побывал... дома. Ну, здравствуй!

– Ой, Володенька... – Она втащила его в комнату и захлопнула дверь, словно боялась, что он убежит. – Володя, милый...

– Спокойно, Николаева. Курить у тебя можно?

Она судорожно закивала, кусая дрожащие губы. Он глянул на нее, сворачивая сигарку, и досадливо дернул плечом.

– Успокойся. Пора привыкнуть к таким вещам... тебе не кажется? Дай воды.

Она выбежала и вскоре вернулась с полной до краев кружкой. Володя отпил глоток и закурил.

– Так ты, значит, переселилась к Люде. Я проходил мимо твоего дома, его здорово трянуло. Очевидно, той бомбой, что попала в обком. Я только одного не понимаю – почему вы не эвакуировались? А где Люда?

– Люсю отправили в Германию, – тихо сказала Таня. – Неделю назад.

– Да, всюду сейчас угоняют. А тебя что ж, забыли?

– Так получилось... Я пошла на биржу первая, меня послали на общие работы, а Люсю потом начальница биржи хотела сделать переводчицей... Ну и когда Люся отказалась, та ее назначила в первый же эшелон.

– Какая глупость, – сказал Володя, поморщившись, – Черт ее дернул отказаться!

– Не понимаю. – Таня вскинул брови. – Что же она, должна была согласиться? Переводчицей – на бирже труда?

– Совершенно верно! К ним нужно втираться, пролезать во все щели, использовать любую возможность, – как ты не понимаешь!

Она смотрела на него с недоумевающим выражением.

– Использовать – для чего?

– Для борьбы, вот для чего! Вы тут позабывали, что идет война, вообразили себя в мирном тылу!

– Но что мы можем? – кротко спросила Таня.

– Всё! Стоит только захотеть.

– Ах, это всё слова... Ты будешь обедать? Хотя что я спрашиваю, вот дура-то. Кто сейчас отказывается от еды, правда?

Она жалко улыбнулась, ей, видимо, очень хотелось обратить этот разговор в шутку.

– Я не знаю, в какой норе ты просидела все это время, – сказал Володя. – Если у тебя поворачивается язык спрашивать: «Что мы можем?» Люди сейчас делают не то, что они могут, а то, чего не может никто, – делают, понимаешь?! У меня на руках умер человек, который смог организовать массовый побег из лагеря военнопленных. Если бы ты видела то, что видел я, ты бы не задавала таких idiotских...

У него перехватило голос, он резко повернулся к окну и полез в карман за кисетом, забыв о тлеющей на краю блюдца сигарке. Таня, закусив губу, нерешительно посмотрела на него и, не зная, что делать и что сказать, потихоньку вышла в кухню – поставить разогревать кастрюльку с супом. Когда она вернулась, Володя стоял согнувшись, уперев лоб в оконную раму и держась руками за подоконник, молча, без единого звука, и только плечи его било и дергало, как в припадке жесточайших судорог. Она смотрела на него, оцепенев от страха, потом подошла и тронула за рукав. «Уйди», – выдавил он сквозь зубы почти с ненавистью. Таня вышла в коридор, плотно притворив двери, и тоже заплакала.

Где-то сейчас может вот так же скитаться ее Сережа – голодный, больной, совершенно один среди чужих. Володя хоть добрался до родного города, где у него есть друзья... А ведь мог бы вернуться вместо него Сережа. Как все изменилось бы, если бы он вернулся!

Таня подумала об этом и вдруг почувствовала, что не может представить себе Сережу здесь – в оккупации, под немцами, бесправным и униженным. Это слишком страшно – увидеть унижение человека, которого любишь. Гораздо страшнее, чем представить его себе под бомбежкой или в рукопашном бою...

Таня вздрогнула, услышав, как хлопнула дверь. Она испуганно прислушалась: неужели ушел, куда же он пойдет в таком состоянии? – но калитка не скрипнула. Она вошла в кабинет

Галины Николаевны и осторожно отогнула край занавески, – Володя был в саду, ходил взад и вперед по дорожке, без шапки, держа руки в карманах расстегнутого ватника. «Ведь простудится», – обеспокоено подумала Таня.

Суп уже остыл, она снова поставила кастрюльку на плиту. Окно стало меркнуть и синеть. «Ну, я ему сейчас», – подумала Таня, стараясь разозлиться. Она выскочила на кухонное крылечко и закричала:

– Послушай, что это за безобразие, долго ты будешь торчать раздетым на таком холоде! Ты что – хочешь заболеть гриппом, чтобы я потом с тобой нянчилась?

Володя вернулся молча и сел к столу, пряча глаза. Таня поставила перед ним суп.

– Садись и питайся, доедай все, я уже поела. Смотри, какой хлеб нам дают – одна кукуруза, но свежий он совсем ничего, а потом рассыпается в труху. Красивый какой, правда? Я его называю кексом, очень похож, особенно когда свежий, такой желтый-желтый, и корочка блестящая, коричневая, как будто смазана яйцом...

– Сколько дают? – глухо спросил Володя, не поднимая головы от кастрюльки.

– Чего, хлеба? О-о, целую кучу – четыреста грамм, – беззаботно сказала Таня. – Нам на двоих вполне хватит. Ты ведь будешь жить здесь?

Володя промолчал.

– Как хочешь, конечно, – сказала Таня. – Может быть, у тебя найдется что-нибудь более удобное. А вообще подумай, серьезно, я бы тебя прописала как родственника...

– Я подумаю, – равнодушно сказал Володя. – Слушай, Николаева... ты извини... Как-то сорвалось, я и сам не хотел...

– Да ну что ты, Володя!

– На меня все это так свалилось... А я еще думал, что после лагеря меня уже ничем не прошибешь. Если бы ты видела, что там делалось...

– Я представляю себе, – тихо сказала Таня. – То есть, наверное, мне только кажется, что я могу это представить...

– Этого не представишь, – усмехнулся Володя. – Да и кто из нас вообще мог заранее представить себе эту войну. Никакая фантазия...

– Ты как попал в лагерь, Володя? – помолчав, спросила Таня.

– Расскажу как-нибудь, после. Туда попасть было просто, труднее было уйти. Мы бежали – я тебе говорил?

– Да, ты сказал...

– Бежали. Нас бежало много, а скольким удалось уйти – не знаю, мы договорились сразу рассыпаться кто куда. Решили, что так безопаснее. Бежали ночью, один парень из лагерной кухни перерубил кабель от движка к прожекторам; пока немцы спохватились, стали пускать ракеты, ребята уже перерезали проволоку. Конечно, много побили там же, на месте. А организовал это один летчик – мы его целую ночь тащили вдвоем, у него была пуля в позвоночнике, потом он все-таки умер.

– Володя, может быть, тебе лучше не вспоминать сейчас все это, – осторожно сказала Таня.

– Конечно, лучше не вспоминать. Еще лучше было бы вдруг взять и забыть. Все дочиста. Ты где работаешь?

– На общих работах, где придется. Иногда посылают разбирать развалины, иногда что-нибудь грузить или чистить дороги...

– Из нашего класса кто-нибудь еще остался?

Таня подумала.

– Я иногда встречаюсь с Инной Вернадской, она живет здесь недалеко...

– Работает где-нибудь?

– Да, уборщицей, ее с биржи послали уборщицей в зольдатенхайм...

– Это еще что такое?
– Что-то вроде солдатского клуба – они там и едят, и пьют, и кино смотрят. Да, такой клуб, что ли. Ужасно бедной Инке не повезло.

– Не повезло? Много ты понимаешь. Надо с ней встретиться, это интересно. Еще кто?

– Недавно видела Аришку, она не работает, как-то удалось отвертеться.

– На что же они живут? Ее отец ведь в эвакуации?

– Петр Гордеевич? Нет, он дома... Делает зажигалки в какой-то артели.

– Что за... – Володя выругался площадными словами, у нее испуганно дрогнули ресницы. – Неужели и Оптический не эвакуировали?

– Частично, проскочил только первый эшелон, а большинство ехало со вторым. Ты вообще не представляешь себе, что тут было с этой эвакуацией. По-моему, просто никто ничего не знал, и все делалось как придется. Галина Николаевна с сотрудниками улетела в Среднюю Азию монтировать свои установки, а семьи должен был эвакуировать замдиректора, но он забрал машину и уехал, никого не предупредив. Люся поэтому и осталась, и я тоже, – мы должны были вместе.

Володя отодвинул пустую кастрюльку и опять закурил.

– Что же ты теперь думаешь делать? – спросил он.

– Кто, я? – Таня пожала плечами. – А что я могу думать?

– Думать можно что угодно, – сказал Володя. – Например, можно радоваться тому, что фронт, отсюда отодвинулся и всем волей-неволей приходится сидеть и выжидать, пока все кончится...

Таня покраснела, прикусив губы.

– Тому, что мы остались в тылу у немцев, никто не радуется, – сказала она сдержанно. – А насчет того, чтобы выжидать... что еще нам остается? «Пусть земля горит под ногами захватчиков» – это легко говорить, сидя в Москве... Не надо было пускать этих захватчиков на Днепр! – выкрикнула она вдруг. – А теперь что мы здесь можем – организовать партизанский отряд в Казенном лесу?! Почему тогда не в Парке культуры и отдыха!

– Не кричи, – сказал Володя. – Я тебе ничего не предлагаю. Если бы у меня был план, я бы пришел и сказал: нужно сделать то-то и то-то, подумай и скажи, хочешь ли ты этим заняться. А я тебе этого не говорю, потому что сам не знаю, что придется делать и как это все сложится. Пока только хочу выяснить, на кого здесь можно положиться и на кого нельзя.

– Ну и прекрасно, теперь ты выяснил, что на меня нельзя, – иронически сказала Таня. – Не правда ли?

– А кто тебя знает. Если ты сама заранее убеждаешь себя в том, что с немцами бороться нельзя...

– Просто не вижу, как и чем с ними можно бороться. Когда я бегала по военкоматам, от меня все отмахивались! А теперь я должна убивать немцев перочинным ножом. Так, что ли? Или, может быть, скалкой?

– Не упражняйся в остроумии, Николаева, у тебя плохо получается.

– Я говорю совершенно серьезно. Для меня это не тема для шуток.

– Очень жаль, если это вся «серьезность», на которую ты способна...

Сдержавшись, Таня оставила реплику без ответа. Спор был в данном случае неуместен, – каждый все равно останется при своем мнении. И потом, человек сейчас в таком состоянии... Она покосилась на Володю, – тот сидел за столом устало сгорбившись, держа самокрутку в черных, заскорузлых пальцах. Жалость и стыд пронзили ее.

– Не будем спорить, Володя, – сказала она мягко, – наверное, ты прав, я просто слишком всего боюсь, поэтому так и говорю. Наверное, ты прав. Ты останешься здесь?

– Если ты всего боишься, то лучше не уговаривай меня оставаться. Я не обещаю тебе, что буду безопасным жильцом.

– Ну... – Таня сделала беспомощный жест. – Нужно же тебе где-то жить! Я это говорю не потому, что хочу показаться такой жертвенной. Мне легче будет, если кто-то будет здесь жить со мной вместе. Ты не можешь себе представить, как страшно одной. Недавно немцы явились на постой около одиннадцати ночи! Хорошо еще, Люся тогда была, иначе я бы просто умерла от страха. Явились, стали колотить в парадное, а потом еще велели нам ощипать трех кур и зашить разорванный китель, один солдат зацепился рукавом за калитку. Представляешь, среди ночи!

– Ужасно, – сказал Володя с насмешкой.

– Конечно, ужасно. Тебе бы так! То есть, я хочу сказать... Ну, понимаешь, девушке в таких случаях всегда хуже. Тот тип отдал мне китель, я сию зашиваю, а он стоит рядом в одних подтяжках и смотрит такими глазами...

– Это еще ничего, если только смотрит. Я не знаю, Николаева, надо подумать. За приглашение спасибо, во всяком случае.

– Оставайся, правда, – убеждающе сказала Таня. – Можешь выбирать себе любую, комнату. А когда немцы – будем спать в кабинете; мы с Люсей всегда там спасались, там хорошие запоры. Там есть раскладушка, а если хочешь – я тебе уступлю диван, я люблю на раскладушке. Отлично поместимся!

– Спасибо, – повторил Володя. – Может, так и сделаем. Часы у тебя есть?

– Сейчас половина пятого, если не врут. Тебе нужно куда-нибудь?

– Нужно заглянуть к соседям, – сказал Володя, устало поднимаясь из-за стола. – Они, кажется, что-то насчет документов могут помочь... У меня ведь паспорта нет – бумажонка липовая, купил там у одного старосты за самогон. Здесь с ней не проживешь...

– А справка с окопов сохранилась?

– Ни шиша у меня не сохранилось. Неважно, здесь меня знают – каждый сосед может подтвердить... А то, что я был в лагере, это никому и в голову не придет, мой год еще не призывался... Ну, будь здорова.

– До свиданья, Володя. Так ты придешь?

– Сегодня, может, и не приду – как еще там управлюсь. Комендантский час у вас с восьми? Не знаю, успею ли.

– Тогда завтра, – сказала Таня, провозжая его на крыльцо. – Послушай, неужели они возьмут Москву?

– Ну и что с того, если возьмут? Наполеон тоже брал. А вообще – не думаю.

Непонятно, в общем, что Сергей в ней нашел, думал он, идя по темной улице. Оказалась, в конце концов, довольно заурядной личностью, если говорить по большому счету. Казалось бы, от Николаевой можно было ожидать чего-то другого... чего именно – трудно сказать, но чего-то не совсем обычного. Хотя ему лично она никогда не нравилась, и никогда он не понимал, чем эта долговязая девчонка привлекала других – Земцеву, Сергея... Да, а Людмилу, значит, угнали.

Эта мысль не вызвала в нем почти никакой реакции.

Что из того, что угнали, что из того, что он ее когда-то любил, что она казалась единственной и необыкновенной – девятиклассница, похожая на Лукрецию де Пуччи. Неделю назад, в Ново-Украинке, он видел, как пьяные полицаи выводили из дома скрывавшуюся там еврейку, тоже совсем молоденькую, лет семнадцати, и тоже похожую на итальянку со старинного полотна. Он видел ее глаза. Он видел воронку на Подгорном. Что ему теперь до того, что Людмилу Земцеву угнали в Германию!

Глава 9

Это был первый эшелон, и из Энска его отправляли торжественно: были флаги, песни, духовой оркестр играл марш, представитель гебитскомиссариата произнес энергичную речь о задачах, стоящих перед населением «освобожденных от жидо-большевистского ига» областей. Потом, целую неделю, мимо открытой двери теплушки под похоронный перестук колес неудержимо и для многих невозвратно уходила на восток Украина – молчаливое круженье белых полей, наспех восстановленные мосты, обугленные развалины полустанков и скелеты вагонов, растерзанных бомбами в августе, в июле, в июне. Безостановочно и неудержимо уходила на восток родная земля, и, словно стремясь ее догнать, с ревом и грохотом неслись навстречу немецкие составы – вздыбленные под брезентами орудийные стволы на платформах, горбатые очертания танков, набитые горляющим пушечным мясом зеленые пассажирские вагоны...

Большую часть времени Людмила проводила на своем месте на нарах, в самом темном углу теплушки. Ею овладела какая-то мертвящая апатия. Девушки вели себя по-разному: одни плакали, другие во всеуслышание ругали немцев и все их порядки, третьи утешались разговорами о том, что живут, мол, люди и в неметчине, неизвестно еще, куда попадешь, а вообще поездить и посмотреть свет тоже интересно, – что они видели до войны? Теперь зато хоть в Европе побываешь.

Людмила, всегда такая общительная – в школе и в комсомоле ее считали прирожденной общественницей, – здесь держалась замкнуто. Почти не вступала в разговоры, никого не утешала, ни с кем не спорила. Она была уверена, что погибла. Встреча со страшной фрау Винкельман глубоко ее травмировала. Почему она знает, что в Германии с нею не случится того же?

Тане она всего так и не рассказала, просто не смогла себя заставить. Сказала только, что начальница хочет сделать ее своим личным секретарем-переводчицей и что такого предложения она, естественно, принять не может. В тот день, когда нужно было дать ответ фрау Винкельман, Таня пошла на биржу вместе с ней и осталась ждать у подъезда. Разговор с начальницей был коротким, – через десять минут Людмила вышла на улицу и молча показала Тане свою регистрационную карточку, жирно проштемпелеванную большой буквой «R». Один удар штампа превратил ее в рабыню. «Мы все-таки живем в гуманный век, – сказала она, пытаясь улыбнуться. – Раньше это делали каленым железом...» Таня обняла ее и заплакала навзрыд прямо на улице. Никто из прохожих не удивился, – перед дверьми арбайтзамта всегда кто-то плакал...

В вагоне было холодно, – девушки все время толпились у отодвинутой двери, и железная печурка посередине не справлялась со сквозняками. Да и уголь приходилось экономить, суточной порции едва хватало. Правда, топливом им удалось немного разжиться в Проскурове, где эшелон простоял почти целый день; на соседнем пути оказался состав с углем, и наиболее отчаянные, не обращая внимания на ругань охранников, ухитрились накидать в вагон с мешок отличного антрацита. Девчата из других теплушек последовали их примеру. Полицай запыхались, бегая взад и вперед и раздавая пинки и затрещины. В конце концов прибежал сам пан вахмайстер – начальник охраны эшелона, красномордый толстяк, обидно похожий на Тараса Бульбу.

– Посказались, курвы! – орал пан вахмайстер. – Зараз позапираю вагоны – до самого Берлину носу не высунете, трясця вашей матери!! Геть по местам, шлендры непотребные, паскуды!

– Ну ты там потише, – издевательски, с ленцой, отозвался голос из темноты теплушки. – Ишь разорался! Мы еще немцам скажем, чем там твои бандиты занимаются. На каждой станции уголь на курей да на самогонку меняете, думаешь, никто не видит! То-то нажрал ряшку – шире задницы...

Пан вахмайстер побагровел еще больше и убежал доругиваться к другому вагону.

Людмила лежала, кутаясь в пальто, подмостив под голову рюкзак. Как тогда сказала Таня – «угораздило же нас родиться в историческую эпоху»? Для историков эти сороковые годы будут просто кладом... для историков, для социологов. Сколько проблем, сколько неожиданностей! Вдруг, в середине двадцатого века, в цивилизованном государстве возрождаются институты рабовладельческого общества. Как? Почему? Никто ведь этого не предвидел, не мог предвидеть. И вот по тем самым местам, где четыреста лет назад татары гнали на невольничьи рынки свой ясырь, снова везут полонянок – на этот раз, правда, в другом направлении. И везут не в гаремы, а на заводы, только и разницы. А впрочем, и на этот счет нельзя быть уверенной...

Ей теперь почему-то было уже почти не страшно. Так или иначе, она пропала. Глупо как все получилось... Не сорвись она тогда на бирже, не вступи в разговор с этой Винкельман, та не обратила бы на нее никакого внимания. Кто ее дернул вылезти со своим знанием немецкого... В такие моменты ведь не всегда соображаешь, что лучше и что хуже. Ее просто взорвал этот наглый тон: «...могла бы сойти за девушку из хорошей семьи, если бы не отрепья...» До чего глупо, надо было взять себя в руки, ответить через переводчицу и уйти...

Да, надо было сделать именно так, но получилось иначе. За себя, в сущности, ей уже не страшно. Что еще могут с ней сделать? А за Таню страшно: как она там будет, совершенно одна, такая неприспособленная, слабая?..

Интересно, что пережила доктор Земцева, когда прочитала в сводке об оставлении Энска. А может быть, ей вообще некогда читать сводки? Интересно, приехал ли туда Кривцов. И что он сказал, встретившись с сотрудниками института. Пожалуй, единственное, что ему теперь остается, – это утверждать, что все, кого он должен был эвакуировать, погибли во время бомбежки. Сейчас никто не проверит, а потом... потом всегда можно найти какое-нибудь объяснение. Так или иначе, если только Кривцов добрался до Ташкента, ее уже считают мертвой. Ну что ж, тем лучше.

Они стояли в Проскурове до самого вечера. После обеда эшелон перегнали на другой путь, по соседству с санитарным поездом. Вагоны, с наглухо замазанными белым окнами, с огромными кровавыми крестами на стенках и крышах, наводили на мысль о кладбище, – длинные, тихие, они были похожи на гробы. Девушки притихли, столпившись в дверях.

– Тоже небось и немцам достается...

– А ты думала! Это еще морозы настоящие не вдарили, а то запрыгают. У нас стояли, так один все жаловался: «Нике гут Украина,, калът, плёхо»... Будет им еще «калът»!

– А нехай, мы их на галушки не звали. Сидели бы у себя в неметчине...

– Девчата, чего это написано на вагоне? А ну, кто умеет по-ихнему! Слышь, Люда, глянька – чего написано, «Митрофан», что ли, какой-то...

Людмила выглянула: поверх широких окон санитарного вагона шли большие выпуклые буквы «МИТРОПА», из-под облупившейся камуфляжной краски на О была видна потемневшая позолота.

– Не знаю, девочки, – сказала она. – «Митропа»? Может быть, название какое-то? – Она вспомнила «Красную стрелу», на которой в прошлом году возвращалась из Ленинграда, и догадалась. – Это, наверное, название экспресса.

– Во, девчата, – вздохнул кто-то, – чего война наделала. Когда-то в этом вагоне люди отдыхать ездили,

Вечером бывший экспресс бесшумно тронулся и, медленно набирая ход, ушел на запад, – молчаливая вереница четырехосных пульмановских гробов, помеченных кровавыми крестами. Наконец двинулся и эшелон. Девчата закрыли дверь, в полумраке тускло светилась докрасна накаленная реквизированным антрацитом печка. «Ой, не свиты мисяченьку», – тоскующим сильным голосом запела Наталка Демченко – та самая рыжая насмешница, что переругивалась с паном вахмайстером. Кто-то заплакал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.